Владимир

Сорокин

Сахарный Кремль



A S T

Сахарный Кремль
Владимир Георгиевич Сорокин

Аннотация
Владимир Сорокин. САХАРНЫЙ КРЕМЛЬ
Марфушина радость
Калики
Кочерга
Сон
Харчевание
Петрушка
Кабак
Очередь
Письмо
На заводе
Кино
Underground
Дом терпимости
Хлюпино
Опала

Аннотация

В «Сахарный Кремль» — антиутопию в рассказах от виртуоза и провокатора Владимира Сорокина — перекочевали герои и реалии романа «День опричника». Здесь тот же сюрреализм и едкая сатира, фантасмагория, сквозь которую просвечивают узнаваемые приметы современной российской действительности. В продолжение темы автор детализировал уклад России будущего, где топят печи в многоэтажках, строят кирпичную стену, отгораживаясь от врагов внешних, с врагами внутренними опричники борются; ходят по улицам юродивые и калики перехожие, а в домах терпимости девки, в сарафанах и кокошниках встречают дорогих гостей. Сахар и мед, елей и хмель, конфетки-бараночки — все рассказы объединяет общая стилистика, сказовая, плавная, сладкая. И от этой сладости созданный Сорокиным жуткий мир кажется еще страшнее.

Владимир Сорокин
САХАРНЫЙ КРЕМЛЬ

«Русь, ты вся поцелуй на морозе!

Синеют ночные дорози».

Велимир Хлебников

«Но сколько произвола таится в этой тишине,

которая меня так влечет и завораживает!

Сколько насилия! Сколь обманчив этот покой!»

Астольф де Кюстин,
«Россия в 1839 году»

Марфушина радость

Зимний луч солнечный сквозь окно заиндевелое пробился, Марфушеньке в нос попал. Открыла глаза Марфуша, чихнула. На самом интересном лучик солнечный разбудил: про заколдованный синий лес Марфуша опять сон видела да про мохнатых шустряков в том лесу. Подмигивали шустряки мохнатые из-за деревьев синих, высовывали языки огненные изо ртов своих горячих, выписывали языками теми на коре деревьев светящиеся иероглифы, да все самые древние-предревние, сложные-пресложные, неведомые и самим китайцам, такие иероглифы, что тайны великие и страшные открывают. Душа замирает от сна такого, а видеть его почему-то приятно очень.

Откинула Марфуша ногой одеяло, потянулась, увидала на стене живую картинку с Ильей Муромцем, на долгогривом Сивке-Бурке скачущим, и вспомнила — последнее воскресенье сегодня. Последнее воскресенье рождественской недели. Хорошо-то как! Рождество святое все еще не кончилось! В школу токмо завтра идти. Неделю

отдыхала Марфушенька. Семь дней будильник мягкий в семь часов не булькал, бабушка за ноги не дергала, папа не ворчал, мама не торопила, ранец с *умной* машиной спину не тянул.

Встала Марфуша с кровати, зевнула, стукнула в перегородку деревянную:

— Ма-м!

Нет ответа.

— Ма-а-ам!

Заворочалась мама за перегородкой:

— Чего тебе?

— Ничего.

— А ничего — так и спи себе, егоза…

Но Марфушеньке спать уж не хочется. Гляну-ла она на окно замерзшее, солнцем озаренное, и вспомнила сразу какое воскресенье сегодня, запрыгала на месте, в ладоши хлопнула:

— Подарочек!

Напомнило солнышко, напомнили узоры мо-розные на стекле о главном:

— Подарочек!

Взвизгнула Марфуша от радости. И испугалась тут же:

— А час-то который?!

Выскочила в рубашечке ночной, с косой рас-плетенной-растрепанной за перегородку, на часы

глянула: пол-десятого всего-то! Перекрестилась на иконы:

— Слава тебе, Господи!

Подарочек-то токмо в шесть вечера будет. В шесть вечера, в последнее воскресенье Рождества!

— Да что ж тебе не спится-то? — мама недовольно приподнялась на кровати.

Заворочался, засопел носом лежащий с мамою рядом отец, да не проснулся: вчера поздно пришел с площади Миусской, где торговал своими портсигарами деревянными, а ночью опять стучал стамеской, мастерил колыбельку для будущего братца Марфушиного. Зато бабка на печи сразу проснулась, закашляла, захрипела, сплюнула, бормоча:

— Пресвятая Богородица, прости нас и помилуй…

Увидела Марфушу, зашипела:

— Что ж ты, змея, отцу спать не даешь?

Закашлялся и дед в углу своем, за другой перегородкой. Марфуша в уборную скрылась — от бабки подальше. А то еще в волосы вцепится. Бабка злая. А дедуля добрый, разговорчивый. Маманя серьезная, но хорошая. А папаня молчаливый да хмурый всегда. Вот и вся семья Марфушина.

Справила нужду Марфуша, умыла лицо, на себя в зеркало глядя. Нравится Марфуша себе самой: личико белое, без веснушек, волосы русые, ровные, гладкие, глаза серые, в маму, нос маленький, но не курносый, в папу, уши большие, дедушкины, а брови черные, бабушкины. В одиннадцать лет свои Марфуша умеет многое: учится на «хорошо», с *умной* машиной «на ты», по клаве печатает вслепую, по-китайски уже много слов знает, маме помогает, вышивает крестом и бисером, поет в церкви, молитвы легко учит наизусть, пельмени лепит, полы моет, стирает.

Вытянула из стакана свою щетку зубную в виде дракончика желто-красного, оживила, напоила зубным эликсиром, сунула в рот. Прыснул дракончик на язык мятным-приятным, набросился на зубы, заурчал. А Марфушенька тем временем расческу в волосы запустила. Занялась расческа слоеная работою своей привычной, поползла, жужжа, по русым волосам Марфушиным. Хороши волосы у Марфуши! Гладкие, длинные, шелковистые. Одно удовольствие расческе по таким ползить. Расчесала она их, вернулась к макушке и принялась косу заплетать. Марфушенька щетку-дракончика изо рта в руку выплюнула, промыла, в стакан поставила. Подмигнул ей дра-

кончик-зубочист глазком огненным и застыл до следующего утра.

А уж на кухне бабушка неугомонная зовет-суетится:

— Марфа, ставь самовар!

— Щас, баб! — крикнула Марфуша ответно, расческу китайскую поторопила:

— Куай-и-дярр![1]

Заурчала расческа громче, замелькали мягкие зубья ее в волосах русых побыстрее. Выбрала Марфуша бантик оранжевый и пару вишенок, дождалась, пока расческа дело свое доделает, и через перегородки — на кухню.

По плечу Марфуше наполнить самовар полутораведерный: налила воды, бересту подожгла, кинула в жерло черное, а сверху — шишек сосновых, за которыми они целым классом в Серебряный Бор ездили. Три мешка шишек набрала Марфуша за неделю. Подмога это большая родителям. И Москве-матушке.

Затрещала береста, Марфуша поверх шишек пук щепы березовой сунула, патрубок вставила, да другой конец — в дырку в стене. Там, за стеною — труба печная, общая, на весь их шест-

---

[1] Примечания: Куай-и-дярр!
Быстрей! *(кит.)*.

надцатиэтажный дом. Загудел весело самовар, затрещали шишки.

А бабка уж тут как тут: едва молитву утреннюю прочла, сразу и печь топить принялась. Теперь уже все в Москве печи топят по утрам, готовят обед в печи русской, как Государь повелел. Большая это подмога России и великая экономия газа драгоценного. Любит Марфуша смотреть, как дрова в печи разгораются. Но сегодня — некогда. Сегодня день особый.

В свой уголок Марфуша отправилась, оделась, помолилась быстро, поклонилась живому портрету Государя на стене:

— Здравы будьте, Государь Василий Николаевич!

Улыбается ей Государь, глазами голубыми смотрит приветливо:

— Здравствуй, Марфа Борисовна.

Прикосновением руки правой Марфуша *умную* машину свою оживила:

— Здравствуй *умница*!

Загорается голубой пузырь ответно, подмигивает:

— Здравствуй, Марфуша!

Стучит Марфуша по клаве, входит в *интерда*, срывает с Древа Учения листки школьных но-

востей:

«Рождественские молебны учащихся церковно-приходских школ».

«Всероссийский конкурс ледяной скульптуры коня государева Будимира».

«Лыжный забег с китайскими роботами».

«Катания на санках с Воробьевых гор».

«Почин учащихся 62-й школы».

Зашла Марфуша на последний листок:

«Учащиеся церковно-приходской школы № 62 решили и в Светлый Праздник Рождества Христова продолжить патриотическое вспомоществование болшевскому кирпичному заводу по государственной программе „Великая Русская Стена“».

Не успела в личные новостушки соскочить, а сзади дед табачным перегаром задышал:

— Доброе утро, попрыгунья! Чего новенького в мире?

— Школьники и в Рождество кирпичи лепят! — отвечает Марфуша.

— Во как! — качает дед головой, на пузырь

светящийся смотрит. — Молодцы! Эдак стену к Пасхе закончат!

А сам пальцем Марфушу в бок. Смеется Марфуша, подсмеивается дед в усы седые. Хороший дедушка у Марфуши. Добрый он и разговорчивый. Много, ох, много повидал, много порассказывал внучке о России: и про Смуту Красную, и про Смуту Белую, и про Смуту Серую. И про то, как государев отец, Николай Платонович, Кремль побелить приказал, а мавзолей со смутьяном красным в одночасье снес, и про то, как жгли на площади Красной русские люди паспорта свои заграничные, и про Возрождение Руси, и про героических опричников, врагов внутренних давящих, и про прекрасных детей Государя и Государыни, про волшебные куклы их, и про белого коня Будимира.

Щекочет дед Марфушу бородой своей:

— А ну, егоза, спроси свою *умницу*, сколько кирпичей в Стене не хватает?

Спрашивает Марфуша. Отвечает *умница* голосом послушным:

— Для завершения Великой Русской Стены осталось положить 62 876 543 кирпича.

Подмигивает дед нравоучительно:

— Вот, внученька, кабы каждый школьник по

кирпичику слепил из глины отечественной, тогда бы Государь враз стену закончил, и наступила бы в России счастливая жизнь.

Знает это Марфуша. Знает, что никак не завершат строительство Стены Великой, что мешают враги внешние и внутренние. Что много еще кирпичиков надобно слепить, чтобы счастье всеобщее пришло. Растет, растет Стена Великая, отгораживает Россию от врагов внешних. А внутренних — опричники государевы на куски рвут. Ведь за Стеною Великой — киберпанки окаянные, которые газ наш незаконно сосут, католики лицемерные, протестанты бессовестные, буддисты безумные, мусульмане злобные, и просто безбожники растленные, сатанисты, которые под музыку проклятую на площадях трясутся, наркомы отмороженные, содомиты ненасытные, которые друг другу в темноте попы буравят, оборотни зловещие, которые образ свой, Богом данный, меняют, и плутократы алчные, и виртуалы зловредные, и технотроны беспощадные, и садисты, и фашисты, и мегаонанисты. Про этих мегаонанистов Марфуше подружки рассказывали, что это европейские бесстыдники, которые в подвалах запираются, пьют огненные таблетки и письки себе теребят специальными

теребильными машинками. Снились мегаонанисты Марфушеньке уже дважды, ловили ее в подвалах темных, лезли в писю железными крюками электрическими. Страшно…

— Марфа, сходи за хлебом!

Ну вот, придется на улицу идти. Неохота, конечно с утра, да делать нечего. Натянула Марфуша кофту, накинула шубку свою старенькую, из которой уж выросла, сунула ноги в валенки серые, платок пуховый с печки стянула, на голову накинула.

А бабка ей рубль серебряный сует:

— Возьмешь белого ковригу да черного четвертинку. Сдачу не забудь.

— И мне папирос купи, внученька, — подкручивает усы дед.

— Весь дом и так прокурил… — ворчит бабка, платок на Марфушеньке завязывая.

А дед веселый бабку — пальцем в бок:

— Оки-доки, мы в Бангкоке!

Вздрагивает бабка, плюется:

— Штоб тебя… черт старый.

Обнимает ее дед веселый сзади за плечи худосочные:

— Не шипи, Змея Тимофеевна! Ужо с пенсии я тебе насыплю.

— Ты насыпешь, Пылесос Иванович, жди! — отпихивает его бабка, но дед ловко целует ее в губы.

— Ах ты, волк рваной! — смеется бабка, обнимает его и целует ответно.

Марфуша за дверь выходит.

Лифт по праздникам не работает — не велено управой городской. Спускается Марфуша с девятого этажа пёхом, варежкой красной по стенам изрисованным шлепая. Грязновато на пролетах лестничных, мусор валяется, лежит говно кренделями подзасохшими, да это и понятно: дом-то земский, а на земских Государь уже шесть лет как обиду держит. Слава Богу, Малая Бронная от опричников откупилась, а то было б и с ней, как с Остоженкой да с Никитской. Помнит Марфуша, как Никитскую крамольную жгли. Дыму тогда на всю Москву было…

Вышла Марфуша из подъезда. На дворе снег лежит да солнышко на нем блестит. И дети уж вовсю играют: Сережка Бураков, Света Рогозина, Витька-Слоник, Томило, парень из тринадцатого дома и какие-то шерстяные оборванцы с Садового. Играют они уже все Рождество в одно и то же, в опричников и столбовых. «Столбовые» усадьбу построили из снега, засели в ней. «Опрични-

ки» их обступили: «Слово и Дело!» «Столбовые» откупаются сосульками. Как токмко сосульки кончаются — «опричники» на приступ усадьбу «столбовых» берут. Вот и сейчас в усадьбу снежки полетели, засвистали «опричники», заулюлюкали:

— Гойда! Гойда!

Идет мимо битвы Марфушенька. В спину ей снежок попадает:

— Марфа, айда с нами лупиться!

Останавливается Марфуша. Подбегают к ней раскрасневшиеся Светка с Томилой:

— Куда прешь?

— Хлеба к завтраку купить надобно.

Шмыгает носом узкоглазый Томило:

— Слыхала, на Вспольном мальчишки по-матерному ругаются. На «х» и на «п».

— Ничего себе! — качает головой Марфуша. — А кто донес?

— Сашка-голубятник. Он Сереге позвонил, а Серега отцу своему. Тот — сразу в околоток.

— Молодцы.

— Сыграй с нами один круг! Будешь княгиней Бобринской.

— Не могу. Родители ждут.

Пошла дальше Марфуша.

Из двора выйдя, направилась в лавку Хопрова. Красиво украшена лавка — у входа две елки наряженные стоят, окна все живыми снежинками переливаются, в углу витрины — Дед Мороз со Снегурочкой в санях ледяных едут. Входит Марфуша в лавку, звякает колокольчик медный. А в лавке уж очередь стоит, но небольшая, человек тридцать. Встала Марфуша за каким-то дедом в ватнике китайском, на витрину уставилась. А там, под стеклом лежит все, чем торговать положено: мясо с косточками и без, утки и куры, колбаса вареная и копченая, молоко цельное и кислое, масло коровье и постное, конфеты «Мишка косолапый» и «Мишка на севере». А еще водка ржаная и пшеничная, сигареты «Родина» и папиросы «Россия», повидло сливовое и яблочное, пряники мятные и простые, сухари с изюмом и без, сахар-песок и кусковой, крупа пшенная и гречневая, хлеб белый и черный. Да, придется ради хлеба и папирос дедушкиных всю очередь отстоять. Вдруг, слышит Марфуша в очереди голосок знакомый:

— Полфунта кускового, ковригу черного, четвертинку «Ржаной» и повидла яблочного на гривенник.

Зинка Шмерлина из третьего подъезда. Марфу-

ша сразу к ней:

— Зин, возьми хлеба да папирос.

Черноглазая и черноволосая Зинка нехотя рубль у Марфуши берет. И сразу же очередь оживает:

— А ты чего, торопыха, постоять не можешь?

— Куда без очереди! Не отпускайте ей!

— Нам тоже токмо хлеба купить!

— Ишь, проныра!

Но за прилавком нынче сам Хопров стоит, а он детишек любит:

— Ладно вам собачиться! Не обижайте девку. Куда торопитесь? Все одно завтра на работу пойдете.

Широк хозяин лавки туловом, высок, окладист бородою рыжей, одет в косоворотку красную да в душегрейку овечью. Отпускает Хопров своими руками большими Марфуше папирос и хлеба, сдает сдачу, подмигивает маленьким, жиром заплывшим глазом:

— Лети, стрекоза!

Выходят Марфуша с Зиной из лавки. Зина из семьи небогатой, неблагополучной: отец у нее хоть и мастер по теплым роботам, а пьет горькую. А маманя вообще работать не желает. Поэтому и одета Зина бедно — валенки худые, ватник

латаный, шапка хоть и песцовая, да старая, заношенная, по всему видать от старшей сестры Тамары досталась.

— Ты на Красную с Тамарой пойдешь? — спрашивает Марфуша, пакет с хлебом поудобнее перехватывая.

— Не-а, — мотает головой Зина. — Тамарка-дура таперича в Коломне, едет оттудова ночным. Мы с Васькой пойдем.

Вася — младший братик Зины. Хорошо им — два подарка получат. А Марфушеньке надобно ждать, пока братик у мамы родится.

Только два дома прошли по Малой Бронной, глядь, из переулка сам Амоня Киевогородский со псом своим верным электрическим шествует, а за ними — толпа зевак валит. Марфуша блаженного Амоню токмо раз видала, когда его над Трубной площадью на веревках подымали, дабы он беду увидал. Тогда увидал он, что у Государыни второй выкидыш случится из-за сглаза вдовы стрелецкой. С той вдовой тогда круто народ обошелся — проволокли ее по Васильевскому спуску к Москва-реке да под лед баграми и запихнули.

Остановились девочки, смотрят на блаженного. Идет он, сутулый, худой, оборванный, на лягушку чем-то смахивающий, ведет на веревке пса своего

электрического по имени Кадэ. На груди у Амони тяжкий крест железный, по плечам — цепи, из ушей дубовые пробки торчат, дабы уберечься от шума людского. Бабушка Марфуше сказывала, что пробки сии вынимает Амоня из ушей токмо раз в год, на Преображении Господне, дабы «услышать шепот света фаворского». Из-за пробок сих дубовых Амоня и не разговаривает, а кричит всегда криком. Вот и сейчас:

— Пути не видно! Идти тёмно!

Хоть и утро стоит солнечное, а не видно Амоне дороги. Останавливается он, останавливается и толпа.

— Посвети! Посвети! — кричит блаженный.

Пес Кадэ зажигает очи свои синие, светит Амоне под ноги. Опирается Амоня на посох, голову свою большую к самой земле склоняет, нюхает снег, кричит:

— Чтой-то кровью потягивает!

Шевелится толпа вокруг Амони:

— Чья кровушка прольется, Амонечка?

— Кому беречься?

— Куда уползать?

— Где свечки ставить?

— Кому подарки заносить?

Нюхает Амоня снег. Замирают все.

— Малая беда! — выкрикивает он.

Наступает толпа, беспокоится:

— Покажи беду! Покажи беду!

Распрямляется Амоня, из-под бровей своих нависших взоры яростные по сторонам мечет:

— Малая беда! Малая беда!

— Покажи беду! Покажи беду! — надвигается толпа.

Купцы и мещане, оборванцы и нищие, пьяницы и *кокошинцы*, китайцы-разносчики и татары-сбитеньщики, подростки и детвора, все просят:

— Покажи беду! Покажи беду!

Распрямляется Амоня, руку вскидывает:

— Подымите меня!

Засуетилась толпа, кинулись в двери и окна домов близстоящих стучать. Замелькали лица в окнах, а четверо молчаливых сподвижников блаженного из мешков своих заплечных мотки с веревками крепкими вынимают. Миг — и повисли веревки на балконах, зазмеились вниз из окон. Тут же постовой возник, перекрыл Малую Бронную: Амоня подымается! Закон прост: в каком месте столицы Амоня беду показывает, там всё сразу замереть должно.

Обвязали Амоню веревками за пояс, встал его пес верный на задние лапы, расступилась толпа.

Натягиваются веревки, подымают Амоню, отрывается он от земли.

Замерла толпа. Смотрят все. Поднимают блаженного Амоню над Москвой. Выше и выше. Третий этаж, четвертый, пятый. Шестой.

— Вижу беду малую! — раздается над толпою.

Перестали тянуть за веревки. Завис Амоня Киевогородский между небом и землей. Толпа внизу стоит, не шелохнется. У Марфуши рот раскрылся. Глядит она на зависшего Амоню во все глаза.

— Кровь стрелецкая прольется в Замоскворечье! — вещает с воздуха Амоня. — Задавят в понедельник опричные двух полковников. Но меньшим опалы не будет.

Вздохнула толпа облегченно: малая то беда, правду Амоня сказал. Среди толпы стрелецких не оказалось. Токмо одна женщина в шубке каракулевой, перекрестившись, из толпы выбежала.

— Опускайте! — вопит Амоня, на веревках содрогаясь.

Опускают его на землю, от пут освобождают. А он сразу же:

— Лечебные!

Из толпы к нему — руки с дарами. Кто деньги дает, кто еду. Сподвижники да пес электрический помогают подарки собирать.

— Я болею! Я боле-е-е-ею! — скорбно кричит Амоня.

Крестятся в толпе и кланяются ему. Крестится Марфушенька, кланяется блаженному. Синие глаза Кадэ на ее кульке с хлебом и папиросами останавливаются. Подходит широкоплечий сподвижник с мешком, молча мешок раскрывает перед Марфушей и Зиной. Покорно опускают девочки в мешок все, что в руках держат.

— Я боле-е-ею! Я боле-е-е-ею!! — вопит Амоня так, что многие в толпе начинают всхлипывать.

Уходит блаженный вниз по Малой Бронной. Валит за ним толпа. А Зина с Марфушенькой оцепенело их глазами провожают.

Свистнул постовой, машины столпившиеся по улице пропуская. Опомнились девочки: надобно снова в лавку идти. У Марфуши-то целых восемьдесят копеек осталось с рубля, а у Зины всего три копейки.

— Надобно родителям сказать, — раздумывает Зина. — Одолжи звоночек?

У Зинки *говоруха* всегда просрочена.

— Звони, — Марфуша снимает с уха свою *говоруху*, дает Зинке.

Зинка пристраивает красно-коричневую *говоруху* к своей мочке:

— «Алконост», Два, два, девять, сорок шесть, полста, восемь.

Служба *дальнеговорения* у семьи Зинкиной самая дешевая — «Алконост». Марфушина семья службу «Сирин» попользывает. Но не потому, что Заварзины много богаче Шмерлиных. Просто полгода назад Марфушин папа вырезал столоначальнику из Палаты Связи киот усадебный со Спасителем да апостолами. И так киот сей столоначальнику понравился, что подвесил он семью Заварзиных на «Сирин» на целых девять бесплатных месяцев.

— Мамуль, я харч весь Амоне блаженному отдала, — говорит Зина.

— Ну и дура, — слышится в ответ. — Отец без водки тебя на порог не пустит.

— У меня три копейки осталось.

— На них и купишь.

Со вздохом возвращает Зинка *говоруху*:

— Делать нечего, пойду на Пушкинскую горло драть — «Разлуку» петь. Авось подадут на чекушку.

— Ступай с Богом, — кивает Марфуша, а сама опять к лавке поворачивает.

Зинке побираться не в первой. А давать ей денег в долг Марфуша права не имеет.

В лавке за это время очередь еще больше выросла — в последний день праздника у всех харч на исходе. И никого из знакомых в очереди той, как на зло. Делать нечего — отстояла Марфуша и снова к Хопрову широкотелому:

— Белого ковригу, черного четвертинку да пачку папирос.

Прищуривает заплывшие глазки лавочник:

— Тю! Так ты ж только что брала, стрекоза. Не хватило твоим? Съели хлеб да обкурились?

— Я, Парамон Кузьмич, все Амоне блаженному отдала.

Чешет бороду рыжую Хопров:

— Вот оно что. Молодец. Сие дело богоугодное.

И помедлив, руку в коробку с леденцами запускает, дает Марфуше:

— Держи.

— Благодарствуйте.

Берет Марфушенька леденцы, хлеб с папиросами и — прямиком домой. Леденец в рот сунула, идет, сосет, торопится, сворачивает с Малой Бронной, а в угловом доме на первом этаже через форточку открытую слышно:

— Ай, не буду! Ай! Ай, не буду!

И розга свистит да шлепает. Сбавила Марфуша шаг, остановилась.

— Ай, не буду! Ой, не буду!

Секут мальчика. Свистит розга, шлепает по голой заднице. Видать, отец сечёт. Марфушу папаша никогда не сечёт, токмо маманя. Да и то редко, слава Богу. В последний раз — перед Рождеством, когда из-за Марфушиной оплошности две полосы *кокоши* драгоценного удуло. Сели в тот вечер мама с папою на кухне после трудового дня, нарезали три полосы белых, а Марфуша как раз мусор выносила да дверь-то настежь и распахнула. А на кухне-то форточка, как на грех, открытая была. Потянуло с лестничной клетки из окна разбитого, да так, что весь *кокоша* — в пыль по углам. Отец с дедом — в крик. Бабка — щипаться. А маманя молча разложила Марфушу на кровати двуспальной да по голой попе прыгалками и посекла. Марфуша плакала, а дед с папой все по кухне ползали, пальцы слюнили, да пыль белую собирали…

Вошла Марфуша в подъезд, а там трое нищих выпивают у батареи. Расстелили себе газету «Возрождение», разложили на ней то, что за утро насобирали, и жуют, распивают бутылку самогона. Но нищие пришлые, не местные, а по виду и вовсе не москвичи: один старый, седой, как лунь, другой чернявый, крепкий, но без ног обеих, а

третий — подросток. И самогон они, видать, у китайцев на Пушкинской прикупили: в мягкой бутылке самогончик-то.

— Здравствуй-поживай, дочка, — улыбается ей старик.

— И вам не хворать, — бормочет Марфуша, мимо проходя.

Стала по лестнице подниматься, да призадумалась: надо бы дворнику донести. Нищие-то разные бывают. В пятнадцатом доме на Святки пустили ряженых, а те по трем квартирам прошлись с револьверами газовыми, да три мешка себе барахла и «накалядовали». Пришлые нищие в лучшем случае на лестнице нагадят, а в худшем — украдут чего-нибудь.

Звонит Марфуша к квартиру дворника на третьем этаже. Открывает дверь дворничиха в бигудях и с папиросой в зубах:

— Чего тебе?

— Там внизу нищие самогонку пьют.

Сказала, а сама — вверх по лестнице бегом. Добралась до своего этажа, в разбитое окно высунулась: что будет? Прошло времени немного, зашумело внизу, хлопнула дверь:

— Ох, родимая моя мамушка!

Вываливается из подъезда старик, за зад дер-

жась, следом парень выбегает, потом — инвалид на своих утюгах колбасится. А за ними — дворник Андреич с электрической дубиной. Прицелился, пустил молнию синюю инвалиду в огузье. Завизжал инвалид, заматерился:

— Еб твою проруху-мать!

Грозит ему дворник:

— Сейчас красную пущу! А потом тебя, охальник, в околоток!

Подхватывают старик с мальчиком инвалида, волокут прочь. Мальчишки дворовые им вслед улюлюкают, снежками провожают. Сплевывает красноносый Андреич на снег, складывает дубину, исчезает в подъезде.

Дело полезное, государственное, сделано. Звонит Марфуша довольная в дверь свою. Открывает бабка, от злобы трясется:

— Где ж ты запропастилась, змея?!

Дед, из уборной идучи, подсмеивается за бабкиным плечом:

— Видать за подружку языком зацепилась!

И отец пасмурный на кухне:

— Марфу токмо за смертью посылать.

— Я Амоню блаженного видала, — оправдывается Марфуша. — Он там на улице поднялся, а потом лечебных попросил. Я ему хлеб с табаком

и отдала. Пришлось заново все покупать.

Утихает бабка, ворчит:

— Сподобилось ему, ишь…

— И чего он разглядел? — дед интересуется.

— Стрелецких давить будут.

— И Бог с ними, — машет бабка, хлеб у Марфуши забирая.

— У этих не убудет, — бубнит отец.

— Не убудет, точно! — закуривает дед.

— Вон какие рыла понаели без войны, — зевает простоволосая мать, из ванной выглядывая. — Воронин, морда, на трех «меринах» ездит. Садитесь завтракать, что ли…

Помолились всей семьей Николе Угоднику, позавтракали кашей пшенной с молоком, попили чаю китайского с белым хлебом и повидлом яблочным. Отец поковырялся с портсигарами да пошел на свою Миусскую площадь, торговать. Мама с бабушкой в церковь отправились. Дед с санками поехал на Арбат за дровами. А Марфуша дома осталась — посуду мыть. Перемыла тарелки да горшки, потом себе воротнички школьные постирала, да прогладила. А потом села с *умницей*

играть в «Гоцзе».[2] Играла до обеда, но баозцянь[3] так и не смогла найти. Его же искать-то надобно не в замке, а в подземелье, там где глиняные воины стоят, а потом оживают да бросаются, да выбираются из-под земли, да ползут к нашей границе. Пока с ними бьешься, баоцзянь синим светится, а как одолеешь их — сразу исчезает. Попробуй тут найди его! Зато, Колька Башкирцев рассказывал, как баоцзянь найдешь — сразу все враги падают замертво, а молодой Государь женится на принцессе Сунь Юн, а для девочек есть ветка: свадьба. Там, он сказал, очень красиво, невеста на пиру меняет шесть нарядов, а потом есть еще одна ветка, запретная: что молодые ночью в опочивальне творят. Это смотреть строго запрещено! И Марфуша это смотреть никогда не будет. А мальчишки, которые баоцзянь нашли, смотрят…

Прошло еще пару часов, прокуковала кукушка настенная. Воротились из церкви мама с бабушкой, приполз дед с санками дров, пришел и отец с площади радостный: продал три портсигара.

---

[2] Примечания: «Гоцзе»

«Государственная граница» *(кит.)*, компьютерная 4D игра, ставшая популярной в Новой России после известных событий августа 2027 года.

[3] Примечания: Баоцзянь

Меч *(кит.)*.

Удача! С почина купил в аптеке золотник *кокоши*. Понюхали они с мамой, бражкой запили, и деду с бабкой немного перепало. Отец-то всегда хмурый, а развеселить его токмо *кокоша* и может. Словно другим он делается — говорливым, непоседливым, задорным. А когда отец задорный — сразу песни поет: «Осень», «Мне малым-мало спалось», «Ясный сокол на снегу», «Кручинушка», «Хазбулат удалой». Сели они с мамой и дедом на кухне петь. Пели и пели, до слез, как всегда. Марфуша тем временем каши теплой навернула, зашла на школьное Дерево, посмотрела, что завтра в школе предстоит:

1. Закон Божий
2. История России
3. Математика
4. Китайский язык
5. Труд
6. Хор

Шесть уроков, многовато.

С Законом Божьим Марфуша давно дружит, историю государства Российского чтит, китайский учит прилежно, на Труде всегда расторопна, хором поет хорошо, а вот математика… Непростая это наука для Марфуши. И учитель, Юрий

Витальевич, не прост. Ох, не прост! Высокий он, худой, тонкий, как баоцзянь, строгий ужасно. Еще в первом классе, когда арифметику изучали, расхаживал Юрий Витальевич по классу, повторяя своим скрипучим голосом: «Арифметика, дети, большая наука». А уж о математике и говорить нечего… Трудно она Марфуше дается: уже восемнадцать раз ставил ее Юрий Витальевич в угол, семь раз — на колени, четыре раза — на горох сухой.

Полистала Марфуша учебник математики ненавистной, закрыла, на полку сунула. Страшные есть учителя. А есть — хорошие, добросердные. Вот, к примеру, учитель физкультуры Павел Никитич: глянет — червонцем одарит. Любимое у него для девочек — забеги. На 500 саженей, тягом, и на 50 — рывом. Летом — в китайках, а зимой — на лыжах. Девочки бегут, а он подбадривает:

— Жги, жги, жги!

У Марфуши лучше всего рывом бегать получается, — быстроногая она, ухватистая. Дважды на соревнования районные ездила. Четвертое место заняла и шестое.

Побродила Марфуша по *интерда*, да опять все в свою «Гоцзе» играть принялась. Так время-то до вечера и пронеслось: четыре часа, пять, пол-

шестого. Тут-то сердце у Марфуши и затрепетало: пора! Собрала ее мама, обрядила, новый платок белого пуха повязала, перекрестила на дорогу:

— Ступай, доченька.

Вышла Марфуша во двор, сердце колотится. А по двору из всех шести подъездов уж дети нарядные идут. Тут и Зина Большова, и Стасик Иванов, и Саша Гуляева и Машка Моркович и Коляха Козлов. С ними вышла Марфуша на Большую Бронную. А по ней уж другие дети идут — десятки, сотни детей! На Пушкинской площади на Тверскую свернула Марфуша — вся Тверская детьми заполнена. Шагают дети по Тверской в сторону Кремля толпою огромной. Взрослых в толпе совсем нет, не положено им. Они свои подарки уже получили. По краям толпы детской — конные стражники порядка движутся. Идет Марфуша в толпе. Бьется сердце ее, замирает от восторга. Все медленнее движется река детская, все больше в нее детей вливается с улиц да переулков. Вот и Манежная площадь. Перешла ее Марфуша с толпою вместе. Еще шаг, еще, еще — и на брусчатку площади Красной ступил сапожок марфушин. Двигается толпа медленным шагом, ползет как гусеница огромадная. Красная площадь под ногами Марфуши. Дух всегда захватывает от этой

площади. Здесь награждают героев России, здесь же казнят врагов ее. Миг — и зазвенели куранты на башне Спасской: шесть часов! Остановилась река детская, замерла. Смолк гомон. Погасли огни вокруг. И наверху, на облаках зимних лик Государя огромный высветился.

— ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ РОССИИ! — загремело над площадью.

Закричали дети ответно, запрыгали, замахали руками. Запрыгала и Марфуша, Государем любуясь. Улыбается он с облаков, смотрят глаза голубые тепло. Как прекрасен Государь Всея Руси! Как красив и добр! Как мудр и ласков! Как могуч и несокрушим!

— С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, ДЕТИ РОССИИ!

И вдруг, как по щучьему веленью, сквозь облака, сквозь лицо государя тысячи шариков красных вниз опускаются. И к каждому шарику коробочка блестящая привязана. Ловят дети коробочки, подпрыгивают, тянут шарики к себе. Хватает Марфуша шарик, опустившийся с неба, притягивает к себе коробочку. Хватают коробочки дети, рядом с ней стоящие.

— БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, ДЕТИ РОССИИ! — гремит с неба.

Улыбается Государь. И исчезает.

Слезы восторга брызжут из глаз Марфуши. Всхлипывая, прижав коробочку к шубке своей цигейковой, движется она с толпой к Васильевскому спуску мимо храма Василия Блаженного. И как только посвободнее в толпе становится, нетерпеливо раскрывает коробочку блестящую. А в коробочке той — сахарный Кремль! Точное подобие Кремля белокаменного! С башнями, с соборами, с колокольней Ивана Великого! Прижимает Марфуша Кремль сахарный к губам, целует, лижет языком на ходу…

Поздно вечером лежит Марфуша в своей кроватке, зажав в кулачке липком сахарную Спасскую башню. Уютно и Марфуше под одеялом стеганым и башне сахарной в кулачке девичьем. Токмо вострие башни с орлом двуглавым из кулачка выглядывает. Светит луна в окно заиндевелое, блестит на сахарном орле двуглавом. Смотрит Марфуша на орла, сахаром поблескивающего, и наливаются усталостью веки ее. Большой был день. Хороший. Радостный.

Празднично было вечером в семье Заварзиных: поставили сахарный Кремль на стол, зажгли свечи, разглядывали, разговоры вели. А потом достал папаша молоточек да и расколол Кремль на части — каждую башню отдельно. А Марфу-

шенька башни кремлевские родным раздавала: Боровицкую — отцу, Никольскую — маме, Кутафью — деду, Троицкую — бабке. А Оружейную башню на семейном совете решили не съедать, а оставить до рождения братика Марфушиного. Пусть он ее съест, да сил богатырских наберется. Зато стены кремлевские, соборы и колокольню Ивана Великого сами съели, чаем китайским запивая…

Веки смыкая, забирает Марфуша орла двуглавого в рот, кладет на язык, посасывает.

Засыпает счастливым сном.

И снится ей сахарный Государь на белом коне.

Калики

Середина апреля. Подмосковье. Вечереет. Развалины усадьбы Куницына, спаленной опричниками. Сквозь пролом в высоком заборе на территорию усадьбы пролезают калики перехожие — Софрон, Сопля, Ванюша и Фролович. Ванюша слепой, Фролович без ноги, Сопля прихрамывает. Из черных развалин дома выбегает стая бродячих собак, лает на калик.

Сопля (поднимает обломок кирпича, швыряет в собак): Прочь, крапивное семя!

Ванюша (останавливается): И здесь собачки?

Фролович (свистит, машет костылем на собак): Улю-лю-лю!

Собаки, отлаиваясь, убегают.

Крестится.

Идет к развалинам дома.

Смеется.

Смеется.

Сопля и Софрон приносят ворох обломков. Фролович достает газовую зажигалку, разводит костер, устанавливает над ним треножник, навешивает котелок.

Софрон берет котелок, зачерпывает снега, возвращается.

Подвешивает котелок на треножник, поправляет огонь.

Развязывает свой мешок.

Смеется.

Фролович и Софрон смеются.

Фролович и Софрон вываливают на клеёнку содержимое трех мешков.

Радостно смеется.

Копошится в объедках.

Берет игрушечного колобка, открывает; внутри — такой же колобок, но поменьше.

Закрывает колобок.

Кидает игрушку в огонь.

Софрон достает тряпицу, разворачивает; в тряпице лежит упаковка с мягкими ампулами; на упаковке живое изображение: на лысой голове человека вдруг начинают расти цветы, человек улыбается, открывает рот и изо рта вылетают два золотых иероглифа синфу.[4]

Сопля снимает котелок с огня, Софрон кладет на середину клеёнки обломок доски, Сопля ставит на него котелок. Фролович достает ложки,

---

[4] Примечания: Синфу
Счастье *(кит.)*.

раздает.

Софрон разрывает ампулы, вытряхивает их содержимое в похлебку; достает пузырек с темно-красной жидкостью, капает в котелок семьдесят капель.

Сопля роется по карманам, достает целлофановый пакет и обнаруживает, что он пуст.

Сопля выворачивает карман; на конце кармана дырка.

Фролович бьет Соплю костылем.

Лезет в карман, достает башню от сахарного Кремля.

Зрячие молча смотрят на башню.

Софрон молча берет сахарную башню, опускает в похлебку.

Перемешивает похлебку.

Пауза. Калики сидят молча. Фролович помешивает суп. Костер потрескивает. Где-то неподалеку поскуливает собака.

Кладет ложку.

Все кладут ложки на клеёнку, встают.

Крестятся, садятся, берут ложки, куски хлеба, начинают есть суп. Сначала жадно и быстро выхлебывают жижу, потом вылавливают из котла куриные объедки, обгладывают не торопясь, хрустят костями. Постепенно движения

их начинают замедляться. Калики улыбаются, перемигиваются, бормоча что-то, раскачиваются, трогают друг друга за носы, смеются. Потом ложатся на землю вокруг костра и быстро засыпают. Угасающий огонь освещает их лица. Калики улыбаются во сне. Костер гаснет. Через некоторое время к спящим осторожно подходит собака, долго принюхивается, хватает с клеёнки куриную кость и убегает.

Кочерга

Капитан госбезопасности Севастьянов приехал на работу в Тайный Приказ к 10:00. Поднявшись в свой кабинет на 4-й этаж, он послал персональный ТК-сигнал о прибытии, вошел в обстановку, съел бутерброд с сычуаньской ветчиной, тульский имбирный пряник, выпил стакан зеленого китайского чая «Тень дракона», просмотрел новости сначала в Русской Сети, потом в Зарубежной, помолился у иконы Георгия Победоносца, взял стандартный стальной сундучок с оборудованием для проведения допроса, прозванный на Лубянке «несмеяной», позвонил во внутреннюю тюрьму, чтобы подследственного № 318 доставили в подвальную камеру № 40, вышел из своего кабинета, запер его и поехал на лифте вниз, в - 5-й, подвальный этаж.

Севастьянов был невысоким, широкоплечим сорокалетним мужчиной с лысеющей головой и моложавым, чернобровым и черноусым лицом. Ему шла черная тайноприказная форма с красным кантом, голубыми погонами, тремя орденскими планками, золотым знаком «370-летие

РТП»,[5] стальным знаком «10 лет безупречной службы» и серебристыми пуговицами с двуглавыми орлами. Сапоги капитана Севастьянова всегда сияли и никогда не скрипели. Он был женат, имел двенадцатилетнего сына и четырехлетнюю дочку.

Спустившись на этаж - 5, он подошел к посту внутренней охраны, приложил свою правую ладонь к светящемуся белому квадрату на стальной тумбе. Перед прапорщиком охраны в воздухе повис пропуск Севастьянова с его званием, должностью и послужным списком. Прапорщик нажал кнопку, решетка поехала в сторону. Севастьянов пошел по бетонному коридору, помахивая «несмеяной» и насвистывая русский романс «Снился мне сад». Подойдя к камере № 40, он повернул влево ручку замка, открыл дверь, вошел. В двенадцатиметровой камере сидели двое: младший сержант конвойных войск и подследственный Смирнов. Сержант тут же встал, отдал честь Севастьянову:

— Товарищ капитан государственной безопасности, подследственный Смирнов доставлен для проведения допроса.

---

[5] Примечания: РТП
Российский Тайный Приказ.

— Свободен, — кивнул Севастьянов.

Сержант вышел из камеры, запер дверь снаружи. Севастьянов подошел к небольшому металлическому столу с боковым подстольем, поставил на подстолье «несмеяну», сел на стул, достал мобило, сигареты «Родина», зажигалку, положил на стол. Подследственный сидел на стальном стуле, укрепленном в бетонном полу и имеющим вместо спинки швеллер в человеческий рост. Руки подследственного были сцеплены сзади мягкими наручниками и захлестнуты за швеллер. Подследственный Смирнов был худощавым, сутулым двадцативосьмилетним мужчиной с длинными руками и ногами, кучерявой темно-русой шевелюрой, узким, заросшим бородой лицом с большими серыми глазами. Сидя на стальном стуле с руками назад, он смотрел себе на колени.

Севастьянов распечатал пачку «Родины», вытянул сигарету, закурил. Вызвал в мобиле искру допуска. В поверхности стола приоткрылся прямоугольник, выдвинулась клавиатура *умной* машины. Севастьянов оживил ее. Над столом повисла голограмма:

ДЕЛО № 129/200

Это было дело Смирнова. Севастьянов полистал

полупрозрачные страницы, куря и стряхивая пепел на пол. Загасил окурок о торец стола, кинул на пол, сцепил руки замком и с улыбкой посмотрел на подследственного:

— Здравствуйте, Андрей Андреевич.

— Здравствуйте, — поднял глаза Смирнов.

— Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, ничего.

— На условия содержания имеются жалобы?

Смирнов задумался, скосил взгляд в сторону:

— Почто меня арестовали?

Следователь вздохнул, сделал паузу:

— Андрей Андреевич, я вам задал вопрос: есть жалобы на условия содержания?

— Много людей в камере. Зело, — пробормотал подследственный, не поднимая глаз.

— Много людей? — вопросительно поднял свои густые черные брови Севастьянов.

— Да. Мест двенадцать, а сидят восемнадцать. Спим по очереди.

— Вы плохо спали?

— Эту ночь выспался. А прошлую… совсем не спал.

— Ясно, — задумчиво кивнул головой Севастьянов. — Значит, говорите, зело много подследственных в камере?

— Да.

Следователь выдержал паузу, повертел в руке узкую лазерную зажигалку.

— А как вы думаете — отчего в вашей камере много подследственных?

— Не только в нашей. В других тоже. К нам подселили вчера двух, они сидели в разных камерах. И там тоже спали все по очереди. Лебединский сказал, что камеры все переполнены.

— Вот как? — удивленно воскликнул Севастьянов, вставая. — Камеры все переполнены?

— Да, — кивнул, глядя в пол, подследственный.

Следователь подошел к нему, заложив руки за спину, озабоченно покусывая губу, потом резко развернулся, отошел к двери и встал, покачиваясь на носках идеально начищенных сапог:

— Андрей Андреевич, а как вы думаете — отчего камеры Лубянки переполнены?

— Не знаю, — быстро ответил подследственный.

— Ну, у вас имеются хоть какие-то предположения?

— Почто меня арестовали? Почему мне не дают звонить домой?

Севастьянов повернулся:

— Дорогой Андрей Андреич, я сюда и пришел

для того, чтобы объяснить вам, почто вас арестовали. Я обязательно, всенепременно сделаю это. Но вы не отвечаете на мой вполне безобидный вопрос: отчего, на ваш взгляд, камеры Лубянки переполнены?

— Я не знаю… ну… наверно мало камер, а арестованных слишком много… не знаю… — забормотал Смирнов.

— Вот! — поднял палец Севастьянов. — Слишком много арестованных. А почему их слишком много?

— Не знаю. Наверно… следователи не успевают… или медленно работают… мало свободных камер… тюрьма старая…

Следователь отрицательно покачал головой:

— Вы ошибаетесь. Тюрьму перестроили и углубили четыре года назад. Помещений хватает. И работаем мы не медленно. Не в этом причина, Андрей Андреевич. А причина в том, что по мере укрепления и расцвета нашего государства, преступников, к сожалению, не становится меньше. Но наоборот. Их становится больше. И знаете почему?

Подследственный отрицательно мотнул кучерявой головой.

— Вы помните Пасхальное обращение государя

к народу?

— Да, конечно.

Следователь вернулся к столу, нашел в своем мобиле речь государя, вызвал голограмму. И в камере появилось живое лицо государя, обращающегося к своему народу:

— Едва вынырнула Россия из омута смуты Красной, едва восстала из тумана смуты Белой, едва поднялась с колен, отгораживаясь от чужеродного извне, от бесовского изнутри, — так и полезли на Россию враги Родины нашей, внешние и внутренние. Ибо великая идея порождает и великое сопротивление ей. И ежели внешним врагам уготовано в бессильной злобе грызть гранит Великой русской Стены, то внутренние враги России изливают яд свой тайно.

Севастьянов выключил голограмму:

— Помните, Андрей Андреич?

Подследственный кивнул.

— Внутренние враги России изливают яд свой тайно, — повторил следователь. — Вот вам, Андрей Андреич, и ответ на ваш вопрос: за что меня арестовали.

— Я не враг России.

— Вы не враг России? А кто же вы?

— Я… я гражданин России. Верноподданный

государя.

— Значит, вы — друг России?

— Я гражданин России.

— Да что вы заладили — гражданин, да гражданин… Все мы граждане России. Убийца — тоже гражданин России. И вредитель — тоже гражданин. Я вас спрашиваю: вы друг России, или враг?

— Друг.

— Друг?

— Друг, — кивнул Смирнов, облизывая пересохшие губы и поводя худощавым плечом.

— Отлично, — кивнул Севастьянов, полистал дело Смирнова, извлек из него текст, увеличил, подсветил красным.

В воздухе камеры повисли красные строчки.

— Узнаете? — кивнул следователь.

— Нет… — сощурился Смирнов и опустил голову. — Я вижу плохо…

— Я вам помогу.

Следователь сел за стол и принялся читать ровным громким голосом:

КОЧЕРГА

русская народная сказочка

Жила-была кочерга. Ворошила она угольки в печке, выгребала золу, поправля-

ла поленья, ежели они горели неправильно. Много угольков она переворошила, много золы повыгребла. Надоело ей у печки жить, опротивело угли горячие ворошить, наскучило золу серую выгребать. И порешила кочерга из дому сбежать, дабы найти себе работу полегче, почище да поприятней. Как токмо вечером прогорела печка, поворошила кочерга угольки, выгребла золу. А потом взяла да и ушла из дому. Переночевала в крапиве, а утром и пошла по дороге. Идет, кругом осматривается. Глядь — идет навстречу кочерге повар:

— Здравствуй, кочерга.

— Здравствуй, человек.

— Куда путь держишь?

— Ищу себе работу.

— Ступай ко мне.

— А что я делать должна?

— Будешь ты угли к котлам-сковородам подгребать да отгребать, за огнем смотреть, чтобы жаркое не подгорало, чтобы суп не выкипал, будешь печь под пироги вычищать.

— Нет, это дело не по мне. Мне б чего

полегче, почище да поприятней найти.

— Ну, тогда прощай, кочерга.

— Прощай, человек.

Пошла кочерга дальше по дороге. Глядь — навстречу ей сталевар:

— Здравствуй, кочерга.

— Здравствуй, человек.

— Куда путь держишь?

— Ищу себе работу.

— Ступай ко мне.

— А что я делать должна?

— Будешь со мной сталь варить: уголь в домну задвигать, за огнем следить, стальную корку пробивать, жидкую сталь из домны выпускать.

— Нет, это дело не по мне. Мне б чего полегче, почище да поприятней найти.

— Ну, тогда прощай, кочерга.

— Прощай, человек.

Пошла кочерга дальше по дороге. Глядь — навстречу ей майор из Тайного Приказа.

— Здравствуй, кочерга.

— Здравствуй, человек.

— Куда путь держишь?

— Ищу себе работу.

— Ступай ко мне.

— А что я делать должна?

— Будешь вместе со мной врагов народа пытать: пятки им жечь, мудя прижигать, на жопу государственное тавро ставить. Работа чистая, легкая и веселая.

Подумала, подумала кочерга и согласилась. С тех самых пор работает она в Тайном Приказе.

Следователь закрыл дело, убрал изображение, вытянул сигарету из пачки, закурил:

— Вот такая милая «русская народная сказочка». Знакома она вам?

Подследственный отрицательно покачал головой.

— Ну, а что же мы это так покраснели? А, Андрей Андреич? Другие бледнеют, а вы вот покраснели. Как-то это по-детски… Что ж, у каждого своя реакция на ложь. Токмо профессионалы не краснеют и не бледнеют, бо творят дело государственное, великое. А вы — любитель. И творите вы дело вражеское, тайное, пакостное. Разрушительное. И ваша душа, созданная по образу и подобию Божиему, противится сему разрушительному

делу, ибо разрушаете вы не токмо государство Российское, но и душу свою заблудшую. Посему и краснеют ланиты ваши.

— Я не писал сего… — пробормотал Смирнов.

— Ты не токмо писал сие, но и распространял округ себя, одесную и ошуюю, яко яд смердящий, злобой лютой брызжущий, — произнес следователь, открывая «несмеяну».

— Я не писал, — поднял плечи Смирнов, глядя в пол. — Сие писал не я.

— Писал, писал. И писал-то на бумаге, по-старинке, не по Клаве Ивановне стучал. Разумно: коли б ты в Сети такое подвесил, тебя бы в один момент к ногтю прибрали, аки гниду беременную. Но ты накарябал сей пасквиль на бумаге. Дабы следы запутать. Но мы, — Севастьянов вынул из «несмеяны» безыгольный инъектор, — следопыты опытные. И не такие петли распутывали. Гончий пес что творит, коли зверь хитрит? Вперед, стрелой к норе летит. Вот так, Соколов… то есть Смирнов.

Следователь вставил в инъектор ампулу, подошел к подследственному. Тот явно забеспокоился: худые колени его дрогнули, сжались, кудрявая голова ушла в плечи.

— Я ничего не делал, я ничего не делал… —

забормотал Смирнов, сутулясь все сильнее и склоняя голову к своим длинным ногам.

— Делал, делал, — Севастьянов взял левой рукой его за шевелюру. — Меня, Андрей Андреич, вот что интересует: кому ты давал читать свою сказочку?

— Я не писал, — глухо проговорил Смирнов в колени.

— Еще раз повторяю: кому ты давал читать сей пасквиль?

— Никому… не писал я… — задрожал голос подследственного.

Севастьянов вздохнул, глянул в потолок с большим плоским матовым плафоном:

— Послушай, ты же мне через пять минут все равно все скажешь, всех назовешь. Но я даю тебе последний, как говорят в Европе, шанс. Назови. И я тебя отпущу в камеру, а в дело пойдет твое желание помочь следствию. И тебе облегченье и мне. А?

Плечи Смирнова начали мелко вздрагивать.

— Я невиновный… мне подбросили… у меня дома и бумаги нет… книжки токмо… нет бумаги, не держу бумаги…

— Что ж ты за зануда такая? — с обидой в голосе вздохнул Севастьянов.

— Не мучьте меня… я ничего не сделал…

— Да никто не собирается тебя мучить. Ты думаешь, я тебя на дыбу подвешу, начну плетью бычьей по яйцам сечь? Ошибаешься, Смирнов. На дыбе у нас токмо опричники пытают. Ну, такое у них правило, что поделаешь. Они в открытую Слово и Дело творят, бо должны на врагов государства страх наводить, посему и зверствуют. А мы, тайноприказные, люди культурные. Мы кнутом по яйцам не стегаем.

— Это не я… мне подбросили… — бормотал Смирнов.

— Скажи еще — подбросили враги, — зевнул следователь.

— Подбросили… подкинули…

— А ты с перепугу другим стал подбрасывать?

— Я ничего не сделал… я ничего не знаю…

— Черт с тобой, дурак.

Резким движением Севастьянов задрал голову Смирнову, приставил инъектор к сонной артерии и нажал спуск. Чпокнула раздавленная мягкая ампула, инъекция вошла в кровь подследственного. Тело Смирнова дернулось, он вскрикнул и замер, окостенев. Его большие серые глаза округлились и остекленели, став еще больше. Губы раскрылись и замерли в немом вопросе. Его

словно укусил невидимый гигантский скорпион. Мелкая дрожь овладела худощавой фигурой подследственного, замершего в напряженной позе. Севастьянов отпустил его волосы, отошел к столу, вложил инъектор в «несмеяну». Вытянул из пачки сигарету, закурил.

Мобило издало тонкий, переливчатый сигнал.

— Капитан Севастьянов слушает, — ответил следователь, убирая сигарету в пепельницу.

Над мобилой возникло изображение полковника Самохвалова:

— Сергей, приветствую.

— Здравия желаю, товарищ полковник.

— А, ты работаешь… — осмотрелся полковник. — Ладно, не буду мешать.

— Да вы не мешаете, товарищ полковник.

— Я хотел, чтобы ты помог Шмулевичу в том деле с коровой. Он зело глубоко увяз, а доброободряющих сдвигов нет.

— Токмо прикажите, — улыбнулся Севастьянов. — Поможем.

— Возьмись, Сергей. А то с меня Архипов требует, аки пытарь хунаньский. Третья неделя безуспешности убогой, мать ее в сухой хрящ. В общем, озадачься. Приказ метну.

— Слушаюсь, товарищ полковник.

— Ну, будь здоров, — с усталой улыбкой подмигнул Самохвалов и исчез.

Капитан взял сигарету, затянулся, пристально посмотрел на застывшего подследственного. Затем вынул из «несмеяны» маленький молоточек, поигрывая им, докурил, загасил окурок и подошел к подследственному.

— Ну, как ты, Смирнов? — спросил капитан, приглаживая усы.

— Я… я… я… — послышалось из приоткрытых, побелевших губ.

— Ты понял, что стал хрустальным?

— Я… да… я…

— Ты хрустальный, Смирнов. Смотри, — капитан слегка стукнул по его плечу молоточком.

Молоточек издал тонкий звон, как при ударе о стекло. Капитан ударил молоточком по колену Смирнова. Молоточек снова зазвенел. Капитан ударил по другому колену. Потом по руке. Потом по бледному, вспотевшему носу подследственного.

Молоточек звенел.

Ужас заполнил глаза подследственного до предела. Дрожь оставила его, он замер, не дыша.

— Ваза ты наша дорогая, — улыбнулся Севастьянов, заглядывая в обезумевшие глаза

подследственного. — Гусь ты наш хрустальный. Все у тебя из хрусталя прозрачного — и ноги и руки, и внутренние органы. Печень, почки, селезенка — все хрустальное. Даже прямая кишка — и то звенит! А уж яйца звенят, аки колокольцы валдайские. Удивительный ты человек, Смирнов!

Подследственный сидел недвижно, как экспонат из музея восковых фигур.

— Сейчас будет для тебя подарок.

Следователь вернулся к столу, постучал по клавишам. В камере с грозным ревом возникла яркая, убедительная голограмма мускулистого, голого по пояс детины с увесистым молотом. Детина ревел, скалился и угрожающе поигрывал молотом.

— Вот что, Ваня, — следователь положил руку на мощное плечо молотобойца, — давай-ка мы этого хрустального интеллигента разобьем на куски, а? Чтобы он больше не вредил России.

— Давай! — ощерился молотобоец.

— А-а-а… не-е-е-ет… а… я… — слабо донеслось изо рта подследственного.

— Что — нет? — склонился Севастьянов.

Но Иван уже с ревом заносил свой молот.

— Не-е-е-е-ет… — захрипел Смирнов.

Молот со свистом описал дугу и замер в санти-

метре от головы подследственного.

— Называй, гад! — зашипел следователь, хватая Смирнова за ухо. — Живо!

— Руденский… Попов… Хохловы… Бо… Бойко… — зашевелил губами подследственный.

— Мало, мало!

Молотобоец снова заревел, размахиваясь. Молот описал круг и снова замер над оцепеневшим подследственным.

— Называй! Называй! — следователь тянул Смирнова за ухо.

— Горбачевский… Кло… Клопин… Монаховы… Бронштейн… Голь… Гольдштейны…

— Называй! Называй!

— Бы… Быков… Янко… Николаевы… Те… Теслеры… Павлова… Горская… Рохлин… Пинхасов… Дю… Дюкова… Валериус… Бобринская… Сумароков… Клопин… Бронштейн… Гольдштейн.

— Этих ты уже называл. Хватит.

Следователь отпустил ухо подследственного, облегченно вздохнул, вернулся к столу, сел, закурил. Сигаретный дым поплыл сквозь замершего с молотом Ивана.

— Спасибо, Ваня, — подмигнул следователь.

— Рад стараться! — улыбнулся Иван и исчез.

Смирнов сидел в той же нелепой позе, со-

гнувшись и запрокинув голову. Севастьянов пощелкал клавишами, названные фамилии влипли в дело, засветились оранжевым.

— Ну, вот, хоть что-то… — следователь приводил в порядок дело.

Он докурил, взял из «несмеяны» инъектор, вставил ампулу, подошел к подследственному и сделал ему инъекцию в шею. Тело Смирнова расслабилось, голова упала на колени. Пока Севастьянов курил, подследственный приходил в себя.

— Ну, вот, ну, вот… — пощелкивал клавишами Севастьянов. — Все, как говорится, в печке.

Подследственный поднял голову:

— Пить… дайте.

— Дам, — кивнул Севастьянов, нажал кнопку.

Вошел конвоир.

— Принесите подследственному воды.

Конвоир принес пластиковую бутылку с родниковой водой «Алтай» и пластиковый стакан, поставил на стол, вышел. Севастьянов закрыл дело, налил воды в стакан, подошел к Смирнову и поднес стакан к его пересохшим губам. Подследственный жадно, в три глотка втянул в себя воду.

— Еще? — спросил Севастьянов.

Смирнов кивнул. Следователь наполнил второй стакан. Смирнов выпил. Потом выпил и третий. Бутылка опустела. Севастьянов швырнул ее и стакан в урну. Глянул на часы:

— Так.

Потер ладонями свои гладовыбритые щеки:

— Вот что, Андрей Андреич. С однодумцами твоими ясно. С бумажкой тоже. Остается токмо один вопросик.

Смирнов поднял на него свои серые, опустошенные глаза.

— Кочерга! — подмигнул ему Севастьянов и огладил усы.

Смирнов тупо смотрел на него.

— Кочерга, — Севастьянов резко, с каблучным скрипом развернулся на месте, шагнул к столу, выдвинул в нем металлический ящик.

В ящике лежала кочерга. Севастьянов взял ее, показал Смирнову:

— Твоя?

— Не знаю.

Севастьянов подошел, поднес кочергу к лицу подследственного:

— Твоя?

— Ну…

— Без «ну»!

— Моя…

— Правильно, твоя. Та самая, которую ты описал в своей сказочке. Как там у тебя: жила-была Кочерга Ивановна. Жила, жила она у отщепенца Соко… тьфу, Смирнова, да и сбежала. К нам. В Тайный Приказ. И служит теперь у нас, стало быть. А мы ей ха-а-ароший оклад определили. И пенсию обеспечим приличную, не сомневайся.

Севастьянов вынул из «несмеяны» миниатюрный лазер, поднес к пятке кочерги, включил. Красный луч уперся в пятку, она стала быстро нагреваться. Севастьянов принялся равномерно водить лучом по железной пятке:

— Ты, Андрей Андреич, человек православный, образованный. Понимать ты должен: каждый из нас за все ответственен. И за дела, и за слова. Ибо каждое дело на слово опирается. Там, где слово, там и дело.

Пятка кочерги раскалилась докрасна. В камере запахло кузницей.

Следователь выключил лазер, убрал в «несмеяну». Подошел к подследственному, схватил его за щиколотку ноги и резко задрал ногу вверх.

— Не-ет… — выдохнул Смирнов.

Севастьянов прижал пятку кочерги к худосочной ягодице подследственного. Красный,

раскаленный металл моментально прожег грубую мешковину тюремных штанов, с шипением впился в плоть. Смирнов завопил, задергался. Но Севастьянов крепко держал его ногу, надавливая на кочергу. Когда она перестала шипеть, он отпустил Смирнова. Тот, продолжая вопить, сучил и притопывал ногами, дергался, тряся кудрявой головой.

Севастьянов убрал дымящуюся, пахнущую шашлыком кочергу в ящик стола, вызвал кнопкой конвоира, закрыл *умную* машину, закрыл «несмеяну», подхватил ее, взял свое мобило и вышел из камеры.

По коридору подошел конвоир.

— Подследственного в камеру.

— Слушаюсь! — отдал честь конвоир.

Севастьянов повернулся и, помахивая «несмеяной», бодро двинулся по коридору к лифтам.

До 13:45 капитан Севастьянов работал у себя в кабинете, разбираясь с показаниями Смирнова и заводя дела на тех, кого тот назвал. И как всегда, далеко не все, названные хрустальным подследственным, имели непосредственное отношение к реальному делу о распространении крамолы. Только на шестерых завел дела Севастьянов. Но зато эти пятеро: Монахов, Клопин, Янко, супруги

Анна и Борис Теслер действительно были врагами, а не «сухарями», которых в последнее время так лихо научились лепить некоторые молодые и зело борзые следователи. Таких работничков капитан Севастьянов не уважал.

Пообедав в просторной, светлой, расписанной в стиле позднего Сомова столовой, Севастьянов перешел в комнату для курения и, выпив чашку крепкого албанского кофе, выкурил черную индийскую сигару, стараясь не думать о делах. Мысли его вертелись вокруг дачи в Толстопальцево, вокруг стройки, затянувшейся до поздней осени, он снова задумался о том, что, вероятно, в этом году успеет передвинуть ворота, а вот замостить двор перед летней пристройкой уже никак не успеет, что китайские рабочие опять оказались жуликами, что хваленые водородные генераторы дают не так уж много электричества, что цены на стройматериалы за этот сезон выросли в полтора раза, что сосед по даче, думский дьяк Рябоконь уж как-то слишком явно живет по средствам, что само по себе странно и наводит на размышление, что Нина, дуреха, хочет родить третьего и что служебный «Киа» после двух лет стал жаловаться уже не токмо на масло, но и на бензин.

Вернувшись в кабинет, он позвонил капитану Шмулевичу, тот зашел, и они до 17:44 сидели с лысым и гнусавым занудой Шмулевичем и рядили о том самом темном коровьем деле.

Шестнадцать месяцев назад в Москве были арестованы шесть членов мистической, антирусской секты «Яросвет». Нарисовав на белой корове карту России, они совершили некий магический ритуал, расчленили животное и стали развозить куски коровьего тела по отдаленным областям государства российского и скармливать иностранцам. Коровья задняя часть была свезена на Дальний восток, сварена и скормлена японским переселенцам, пашину и подбрюшье доставили в Барнаул, налепили из них пельменей и скормили китайцам, из грудинки сварили борщ и в Белгороде накормили им восемнадцать хохлов-челноков, в Рославле, белорусским батракам навертели котлет из коровьих передних ног, а из головы сварили холодец, которым, неподалеку от Пскова накормили трех эстонских старух. Все шестеро сектантов были арестованы, допрошены, все признались, назвали сообщников и пособников, но в деле, тем не менее, осталось темное место: коровий потрох. В магическом ритуале по «расчленению» России

он играл важную роль. Однако, кишки, желудок, сердце, печень и легкое удивительным образом бесследно исчезли, и никакие пытки не смогли помочь следствию и прояснить ситуацию. Ясно было, что шестеро арестованных просто не знают кто, куда и с какими целями подевал потрох расчлененной коровы. Капитан Шмулевич, ведущий коровье дело, тоже не знал этого до того самого дня, когда в Свято-Петрограде был арестован по доносу соседки известный книголюб, собиратель почтовых марок, монет и старинных предметов, сбывавший в своей лавке иностранным туристам вместе с марками, книгами и прочей рухлядью некие консервы, при подробном рассмотрении оказавшиеся саморучно укупоренными банками с коровьим паштетом, произведенным кустарным способом в подвале его дома. На все банки лепилась одна и та же этикетка: «Говяжий паштет „Белая Корова“». Причем, консервы сии не продавались, а отдавались даром покупателям в знак «благодарности за покупку». Всего за 38 дней подручные книголюба сумели изготовить и распространить среди иностранцев 59 банок паштета. Причем, банки с паштетом отдавались токмо западным туристам, не китайцам и не азиатам. После восемнадцатичасового

допроса книголюб признался, что получил заказ на изготовление и распространение «Белой Коровы» от некоего крещеного еврея, бесследно исчезнувшего и найденного в городской клоаке Свято-Петрограда зарезанным, без пальцев, зубов и глаз, и с трудом опознанным. После обысков в доме зарезанного и допросов его близких оказалось, что тот, так же как и книголюб, ни ухом ни рылом не ведал про тайное общество «Яросвет» и был всего лишь посредником, используемым втемную святопетроградскими членами секты. За три месяца поисков Шмулевичу удалось выйти на некоего откупщика, назвавшего на допросе пожилую мещанку, сезонного ледоруба, уличного певца и жонглера-гиревика, мастера Сети и сторожа зоологического музея. Все пятеро были людьми весьма разных сословий, убеждений и занятий, что потребовало от возглавляемой Шмулевичем следственной группы времени и сил. Не слишком умный, но въедливый и усидчивый Шмулевич в работе с вышеупомянутыми пятью подследственными нарыл два важных обстоятельства: все они посещали одну и ту же баню, и у всех была одна и та же служба *дальнеговорения* «Алконост». Но допросы банщиков и служащих «Алконоста» ничего определенного

не дали. На этом коровье дело встало намертво. С этим Шмулевич и пришел к Севастьянову. Поразмыслив, просчитав три куста разветвлений дела, Севастьянов сосредоточился на главном: кишки. Банки с паштетом и желудок его пока не интересовали. О кишках они со Шмулевичем и проговорили до темноты.

Когда жидкие часы в кабинете Севастьянова отлили 18:00, он встал из-за стола, потянулся, зевая:

— Уа-э-э-э… В общем, Витя, искать надобно в Москве. Это раз. И искать надобно кишки. Это два.

— Ясное дело, — кивнул, приподнимаясь Шмулевич. — И искать надобно у книжников.

— Искать надобно у книжников. Правда! — назидательно повторил Севастьянов. — Ладно, бывай. Завтра продолжим.

Они пожали друг другу руки, и Шмулевич вышел.

Севастьянов усыпил *умную* машину, вытряхнул переполненную пепельницу в урну, достал из шкафа черную шинель, голубой шарф, зимнюю форменную шапку, оделся, пристегнул мобило к ремню и вышел из кабинета.

На Лубянской площади было темно, промозгло

и слякотно. Шел первый мокрый снег.

«Двадцать второе октября… рановато нынче для снега…» — подумал Севастьянов, подходя к своей машине. Приложил ладонь к дверце, она пискнула, открылась. Он полез в левый карман за перчатками и вместо них нащупал бумажный комок. Вынул, развернул. И заулыбался: в синей пометочной бумаге лежал маленький сахарный двуглавый орел, отломанный дочкой Севастьянова от башни сахарного Кремля, который она получила еще на Рождество на Красной площади. По семейной традиции двуглавых орлов, или «орликов», как она их называла, дочка всегда отламывала от башен кремлевских и отдавала папе. Всего их было семь. Этот, последний, завалялся еще с зимы в левом кармане зимней шинели капитана. Севастьянов вспомнил белорозовые бантики в коротких косичках дочки, ее востренький птичий носик, черные, живые глазки. Положил орла на язык, достал из правого кармана тонкие кожаные перчатки, сел в машину, завел мотор, вырулил со стоянки и неспешно поехал по вечерней Москве.

«Да… вот и зима…» — думал он, посасывая орла.

— Что желаете послушать, Николай Ильич? —

спросила машина.

— Что-нибудь старенькое, по душе… — рассеянно ответил Севастьянов.

Машина задумалась на три секунды, вкрадчиво вступил оркестр, и вдруг знакомый с детства, приятный мужской баритон запел:

Когда спокойно спит страна,
Не спят,
не спят,
не спят
Чекисты среднего звена.

Свою незримую войну
Они ведут за всю страну —
За честный труд, за мирный кров,
За память дедов и отцов,
За тишину родных полей,
За дочерей и матерей.

И каждый час уходят в бой
За нас с тобой…

Это была известная песня, привет из далекого 2008-го, когда Коля Севастьянов, благополучно окончив московскую школу № 120, поступил на

экономический факультет московского университета, ездил на метро и маршрутках, на первом курсе носил дрэды, потом обрился наголо, напяливал огромные штаны, занимался любовью с Соней на даче ее родителей в Крекшино, читал Елизарова и Бегбедера, слушал Марка Рибо и «Gogol Bordello», курил траву и пил пиво «Арсенальное», смотрел Вырыпаева и Альмадовара, играл в волейбол, в «Mortal Combat» и раз в месяц ходил с Олесей в «В-2».

Он жил тогда с матерью на проспекте Вернадского, родители разошлись, мать работала бухгалтером в мебельном магазине «Шатура», отец, женившись на ровеснице Коли, давал им с матерью ежемесячно 1500 долларов, мать раскладывала по углам двухкомнатной квартиры однодолларовые купюры, «чтобы деньги водились», бабушка присылала из Тюмени малосольных муксунов и нельму, богатенький Алик Мухаммедов подарил ему на день рождения крутой велосипед «Kona», Соня удачно сделала аборт, у Коли была стереосистема «Marantz», в подъезде дома на бетонной стене кто-то очень красиво и лихо написал «Never fuck you again!», на гаражах под окнами была корявая черная надпись «Олигархи в Кремле!», а младшая сест-

ренка Коли заболела гриппом, лежала с высокой температурой, бредила, услышала другую песню — «ты запомни сынок золотые слова — хлеб всему голова, хлеб всему голова» — и страшно испугалась, плакала, говорила, что у всех теперь хлебные головы, у людей и у вещей, у книжки, у телевизора, у кошки, у подушки, — все хлебные, хлебные головы и они раскрывают страшные хлебные рты…

Севастьянов медленно ехал в потоке машин, вспоминая и посасывая сахарного орла. Певец пел песню своим приятным, спокойным и мужественным голосом. Севастьянов вспомнил этого певца — он был с мясистым, гладким, как бы резиновым лицом и в черном парике. Но имя его он давно забыл. Возможно и про хлеб, который всему голова, этот певец тоже спел в свое время.

— Всему голова… — произнес Севастьянов и улыбнулся.

И благодарна вся страна
Чекистам среднего звена.

Песня кончилась.

Сахарный орел на языке капитана Севастьянова приятно треснул и развалился на три части.

Сон

Девятого февраля две тысячи двадцать восьмого года от Рождества Христова государыня заснула в 06:17 по московскому времени в своих кремлевских хоромах, в розовой опочивальне. Ей приснился сон:

Голая, но в туфлях на высоких тонких каблуках, она входит в Кремль через Спасские ворота. Стоит солнечный, теплый, даже жаркий день. Кремль идеально освещен, он сияет белизной на солнце так, что слепит глаза государыне. Но интенсивное сияние это чрезвычайно приятно, оно бодрит, наполняет тело радостью. Государыне очень хорошо. В Кремле все белое-пребелое. Не только стены и здания, но и привычная брусчатка под ногами тоже белая, искристая, переливающаяся на солнце. Брусчатка скрипит под каблуками государыни. Государыня ступает по ней, с каждым шагом ощущая, как молодеет, наливается силой и здоровьем ее тело. Она чувствует, как колышущаяся при каждом шаге грудь подтягивается, делаясь упругой, молодой. Она трогает свою грудь, касается сосков, дивно

твердеющих при каждом новом шаге. Каждый шаг доставляет ей все большее и большее удовольствие. Чувство возвращающейся молодости наполняет тело несказанным восторгом. Государыне очень, очень, очень приятно идти, идти, идти по этому пустому, белому, залитому горячим солнцем Кремлю. Она понимает, что Кремль совершенно пуст. Здесь нет никого — ни караула, ни стрельцов, ни кремлевского полка в казармах, ни бояр, ни казначеев, ни стольников, ни кравчих, ни стряпчих, ни постельничих, ни ключников, ни стременных, ни скотников, ни псарей, ни палачей, ни сторожей, ни дворников, ни привратников, ни придверников, ни слуг, ни шутов, ни приживал, ни приспешников, ни священников, ни монахов, ни пономарей, ни диаконов, ни дьяков, ни дьячков, ни даже привычных нищих на этой ослепительной паперти соборной площади. Государыня идет по Кремлю, обозревая его и трогая себя. Сердце ее бьется радостно и оглушительно. Ей так хорошо, что она постанывает от радости при каждом шаге. Стоны становятся все громче, государыня начинает издавать резкие, восторженные звуки. Отразившись от ослепительно белых кремлевских стен, вскрики возвращаются к ней в виде причудливого эха. Она вскрикивает и взвизгивает

все сильнее. И вдруг обнаруживает в себе удивительную новую возможность, чудесный дар, проснувшийся в теле: ее помолодевшее, подтянувшееся горло может петь. Да и как петь! Не просто, как все поют, а мощно, высоко, чисто, беря любые ноты. Государыня пробует свое обновленное горло, заставляя его издавать самые причудливые звуки. Горло повинуется ей. Голос ее звенит в Кремле. Мощь и чистота собственного голоса потрясает ее. Она плачет от радости, но быстро приходит в себя, наполняясь гордостью и осознанием собственного величия. Она никогда не умела и не любила петь, поэтому не знает до конца слов ни одной песни, ни одного русского романса. Она любила, когда поют другие, особенно молодые и красивые мужчины в военной форме. Ступая по белой брусчатке, государыня вспоминает обрывки песен, оперных арий и романсов, поет их в полный голос, сотрясая стены кремлевские мощью и чистотой своего голоса. Обрывок одного романса надолго застревает у нее горле, она начинает петь его непрерывно, варьируя на разные лады:

Не уходи, побудь со мною.

Здесь так отрадно, так светло.

Я поцелуями покрою
Уста и очи, и чело.

Распевая эти слова, она все идет и идет по белому Кремлю, молодея и радуясь, видит великие русские реликвии — царь-колокол и царь-пушку, проходит мимо царя-колокола, трогая его сверкающую белую поверхность, царь-колокол резонирует, отзываясь ее песне, голос государыни гудит и звенит внутри царь-колокола. Она идет дальше, замечает, что даже голубые ели кремлевские теперь тоже ослепительно белы, она подходит к ним, трогает твердую, бело-искристую, резную лапу ели, идет к царь-пушке, поет, поет, поет, и огромное жерло царь-пушки отзывается, звенит, ревет на все лады. Она кладет свои помолодевшие руки на белую царь-пушку и вдруг ясно осознает, что все в Кремле — стены, соборы, государевы хоромы, мостовая, ели и царь-пушка — все это сделано из прессованного, какого-то особенно, невероятно чистого кокаина. Именно этот необычный, как бы небесный кокаин и омолодил ее тело. Она лижет царь-пушку, чувствуя всю прелестную мощь этого вещества, сердце ее бьется так, что готово выпрыгнуть из грудной клетки. Государыню начинает трясти от воз-

буждения, нарастающего, как волна. Стройные молодые ноги ее дрожат, упругая грудь колышется, дыхание распирает грудь. Она лижет и лижет пушку, суча ногами, язык ее сладко немеет, слезы текут из глаз, руки трогают тело, тело ее молодо и обворожительно, она с восторгом трогает свое тело, все изгибы его, все выступы и продолговатости, гладит теплую шелковистую кожу, холит каждую ложбинку, сжимает грудь, пьянея все сильнее. Ей ужасно хочется кончить, прижавшись к божественному веществу, но выступы царь-пушки жестки и неудобны. Она замечает рядом пирамиду из белых ядер, три ядра внизу, одно сверху, громадные ядра, которыми давным-давно стреляла царь-пушка. Дрожа от нетерпения, она влезает на эту пирамиду, садится на ядро, сжимает его ногами, прижимая свой бритый, очаровательный лобок к искристо-белому, прохладному ядру, хватается за это большое ядро руками, прижимаясь к нему все сильней, сильней, сильней, сильней, сильней, — и кончает.

Государыня проснулась.

Открыла полные слез глаза. Рядом с ложем стояла служанка.

— Что? — хрипло спросила государыня, приподняла голову и, тяжело вздохнув, откинулась

на подушки.

Служанка молча отерла ей глаза платочком.

— Ох… Боже мой… — произнесла государыня, тяжко дыша. — Скинь.

Служанка откинула с нее пуховое одеяло. Государыня лежала в розовой, под цвет спальни, полупрозрачной сорочке. Спящая в ее ногах левретка встала, зевнула, отряхнулась, завиляла тонким хвостом и, потягиваясь, пошла по постели к лицу хозяйки. Государыня лежала, тяжело дыша. Большая грудь ее колыхалась в такт дыханию. Левретка подошла к ее лицу, стала лизать нос и губы.

— Отстань… — отпихнула ее государыня.

Левретка спрыгнула с кровати, побежала в открытую дверь, ведущую в ванную комнату. Государыня заворочалась, тяжко дыша, стараясь сесть, служанка подхватила ее под полную белую руку, помогая, стала подкладывать под спину подушки розового шелка.

Государыня села, откинувшись на холмик из подушек. Развела полные белые ноги, подняла расшитый кружевами подол сорочки, провела рукой по гладко выбритой промежности, поднесла к лицу. Ладонь была мокрой. Государыня показала ладонь служанке:

— Вот.

Служанка скорбно качнула русой, аккуратно причесанной головкой, приняла государыневу длань, стала деликатно обтирать ее ладонь платочком.

— А все, потому что третью ночь уже одна сплю.

Служанка сочувственно качала головкой.

— О-о-о-ох! — громко выдохнула государыня и посмотрела в расписной потолок.

На потолке в облаках боролись за чье-то пылающее сердце пухлявые амуры.

Левретка вбежала в спальню, вспрыгнула на кровать, стала лизаться. Государыня обняла ее, прижала к своей колышущейся груди:

— Коньяку.

Служанка быстро наполнила стоящую на резном столике рюмку из хрустального графина, поднесла на золотом блюде с уже нарезанным и посыпанным сахарной пудрой ананасом. Государыня выпила залпом, сунула в рот кусочек ананаса и зажевала полными губами. Служанка стояла с подносом, со сдержанным обожанием глядя на госпожу.

— Дай-ка мне… — государыня поставила пустую рюмку на поднос.

— Маслинку? — спросила служанка.

— Да нет… это… — государыня взяла еще ананаса, пошарила по спальне влажными черными глазами.

— Табачку нюхнуть изволите?

— Да нет. Ну… это!

— Мобило?

— Да. Набери-ка мне Комягу.

Служанка взяла со столика золотое мобило в форме рыбки с большими изумрудными глазами, набрала. Мобило ответило переливчатым перезвоном. Рыбка выпустила изо рта голограмму: холеное, озабоченное лицо Комяги в кабине «мерина». Держа руль, Комяга склонил голову с завитым, позолоченным чубом:

— Слушаю, государыня.

— Ты где? — спросила государыня, жуя ананас.

— Токмо что из Тюмени прилетел, государыня. Еду по Киевскому тракту.

— Лети сюда. Мухой.

— Слушаюсь.

Голограмма исчезла.

— Пора ведь, а? — рыгнув, государыня посмотрела на служанку.

— Пора, государыня, — с тихим восторгом произнесла та.

— Пора, пора, — государыня заворочалась, сбросив с груди левретку.

Служанка подставила руку, государыня оперлась, встала. Встряхнула черными, густыми, кольцами рассыпавшимися по плечам волосами. Потянулась полным телом, застонала, морщась, взялась за поясницу. Шагнула к зашторенному окну, коснулась пальцем розовых штор. Шторы послушно разошлись.

Государыня увидела в окно сквер с голубыми елями и снегом на них, Архангельский собор, часть соборной площади с нищими и голубями, стрельцов в красных шинелях и со светящимися синим алебардами, стражников с булавами, монахов-просителей с железными торбами, юродивого Савоську с дубиной. Поодаль, за белым углом Успенского собора виднелась черная, чугунная царь-пушка. Рядом с ней на фоне снега чернела пирамида из ядер. Государыня вспомнила белое, гладкое, прохладное ядро и коснулась ладонью своего теплого живота.

— Пора, — произнесла она еле слышно и щелкнула ногтем по пуленепробиваемому стеклу.

Харчевание

Громкий, раздражающий своей слепой беспощадностью, противный человеческому уху, резко-переливчатый сигнал круглого серого, нагретого полуденным солнцем динамика спугнул присевших на него и уже спарившихся было стрекоз, растекся в жарком июльском воздухе Восточной Сибири, будя вечную тишину сопок и неба, заглушая однообразные звуки работающих каменщиков, скрип палиспаса, бормотание бригадира, зудение мошки, отсеченной ультразвуковым периметром от рабочей зоны, уплыл к поросшим хвойным редколесьем сопкам, отразился от них и тут же вернулся, чтобы отразиться уже второй раз — от самой возводимой Стены, белой плавной полосою ползущей через сопки и исчезающей за ними на неровном голубом горизонте.

— Тьфу ты, кикимора, чтоб тебя… — Сан Саныч вытер взмокший лоб, плюнул в сторону столба с пронзительным динамиком, но слюны в пересохшем рту не оказалось.

Он вытянул из наколенного кармана робы

узкую пластиковую бутылку с водой, сдвинул пальцем мягкую пробку из живородящей резины, жадно припал сухими губами. Теплая вода забулькала в его горле, поросший седой щетиной кадык болезненно задергался.

— Шабаш, православные! — рослый, сутулый и узкоплечий Савоська сунул мастерок в пластиковое корыто с раствором, распрямился со стоном, потер поясницу, свесился с лесов: — Хорош!

Бочаров и Санек, работающие внизу на палиспасе, подающим наверх белые пеноблоки, тут же приостановили колесо. Корзина с пеноблоками зависла в воздухе. Бочаров сощурился, глядя на Стену из-под тяжелой, смуглой руки:

— Аль не примете?

— Опускай! — хромой, горбоносый, вечно обозленный, Зильберштейн по кличке Подкова, напарник Савоськи, сплюнул вниз. — Работа — не волк, а харч — не лаовай![6]

— Иншалла! Уже двенадцать? — радостно оскалился беззубый, бритоголовый и широколобый Тимур.

— Це ще не тринадцять, хлопче, — устало усмехнулся жилистый, носатый Савченко и стал

---

[6] Примечания: Лаовай

Чужак, пришлый старик *(кит.)*; обидное китайское прозвище для иностранцев.

стряхивать с рук в ведро прилипший раствор, поглядывая в чистое, безоблачное небо. — Да тильки нэ бачу я архангелив. А дэ ж вони?

И словно по команде, из-за гряды голубовато-зеленых, дальних сопок показались три точки. Вскоре послышался звук летящих вертолетов.

— Летит, родимый, — тихий, коренастый, белотелый и беловолосый Петров опустил пеноблок на свежую кладку, подобрал мастерком выдавленный раствор, сбросил в корыто, принялся чистить мастерок о торец пеноблока. — Слава тебе, Господь Вседержитель, до обеда дожили…

— Подхарчимся, мать вашу в калашный ряд… — Савоська стянул серые от раствора перчатки, повесил на перекладину.

— Эй, брыгадыр, что с раствором дэлать? — бритоголовый, мосластый, большеглазый Салман кинул вниз окурок, почесал волосатое средостение ключиц под серебристым ошейником безопасности.

— Оставляем! — бригадир Слонов, невзрачный с виду, невысокий, но громкоголосый, сухощавый, со всегда вспотевшим утиным носом, быстрыми глазами и быстрыми узловатыми, всегда неспокойными пальцами снял с плешивой головы синюю зековскую кепку, вытер взмокшую

плешь, недоверчиво сощурился на приближающиеся вертолеты.

Один, как всегда, летел прямо к ним, двое других разлетались в обе стороны — налево, к бригаде Чекмазова и направо — к подопечным горбатого балагура Провоторова.

Вертолет приближался. Он был выкрашен в темно-зеленый цвет, на боку рядом с золотистым двуглавым орлом белела надпись «СТЕНА-восток-182».

— Заключенные, харчевание! — громко произнес репродуктор и смолк.

По лесам, собранным из красных пластиковых труб, бригада Слонова полезла со Стены на землю:

— Савоська, копыта подбирай…

— Сан Саныч, а провоторовские-то, по ходу, опять раньше нас подхарчуются.

— И Бог с ними.

— Черт с ними, а не Бог! Дай водицы глотнуть…

— Глотни, охальник.

— Православные, кто куревом богат?

— Интересно, будет мясо?

— Хоть бы облачко Господь сподобил…

— Почекай трошки, увечери ще й сниг.

— Разлу-у-ука ты, разлу-у-у-ука…

— Заткнулся бы ты, Подкова гнутая.

Вертолет сел.

Зеленая дверца открылась, вылезла лесенка, по ней спустились двое вольноотпущенных в нечистых белых халатах с двумя десятилитровыми термосами, хлебными брикетами и упаковкой одноразовой посуды, прессованной из рисовой муки. А сразу за ними — двое из конвойных войск с раскладной «танюшей» и лагерный палач Матюха со своим узким бидоном. Бригада притихла. Маленький, коренастый Матюха спрыгнул с лестницы, подмигнул бригаде:

— Здорово, деловыя!

Он был русоволос, с крепкой шеей и плоским, мятым, безбровым, сильно веснушчатым лицом с едва различимыми щелочками глаз.

— Дождались, мать твою… — пробормотал Подкова и зло сплюнул сквозь желтые, парадонтозные зубы на мшистую землю.

— Приправа вам солененькая к обеду! — потянулся Матюха и кивнул конвойным. — Раскладывай, ребята.

Конвойные принялись раскладывать «танюшу».

Петров стянул с беловолосой головы кепку,

перекрестился:

— Господи, укрепи и пронеси…

Сан Саныч с усталой усмешкой почесал морщинистый лоб:

— Мда… вот тебе, бабушка, и восемьдесят два процента.

Конвойные разложили зеленую, металло-керамическую «танюшу», укрепили сочленения винтами, расстегнули ремни. Вольноотпущенные со своими термосами присели под навесом. Летчик, высунувшись из кабины, курил и смотрел.

Матюха вынул из пояса свое мобило, переключил на местный динамик. И серый круглый динамик, только что сигналивший «харчевание», заговорил голосом майора Семенова, начальника воспитательной части лагеря № 182, родного лагеря бригады, раскинувшегося сорока двумя бараками между двумя сопками — Гладкая и Прилежай, почти что в двухстах пятидесяти верстах отсюда:

— За невыполнение шестидневного плана по возведению восточного участка Великой Русской Стены бригада № 17 приговаривается к выборочной порке солеными розгами.

Стоявшая, замерев, бригада зашевелилась.

— Выборочная… — тихо выдохнул Петров. — Слава тебе, господи, что не всех…

— Не бзди, достанется, — сплюнул Подкова.

— Восемьдесят два все-таки не семьдесят два, — глупо рассмеялся Санек.

Матюха кинул бригадиру Слонову коробок спичек, склонился к бидону, стал отвинчивать крышку:

— Давайте.

Бригадир достал спички, обломал три из десяти, протянул Матюхе. Тот отвернулся и тут же повернулся, профессионально быстро показал зажатые между пальцами десять спичечных головок.

Стали тянуть жребий. Обломанные спички достались Савоське, Салману и Петрову. Несчастливые восприняли свой жребий по-разному: Савоська почесал головкой спички старую, путинского времени татуировку на груди, усмехнулся, сунул спичку в зубы, прищурился на Матюху:

— Дома!

Салман вмиг помрачнел, угрюмо пробормотал что-то по-чеченски, отшвырнул спичку, сунул сильные руки в карман и беззвучно, но зло засвистел, давя мраморно-зеленый мох серым от цемента ботинком.

Петров, вытянув короткую спичку, охнул, от-

топырив нижнюю губу, перекрестился и, зажав спичку в белокожем кулаке, прижал к груди, забормотал:

— Господи, спаси и сохрани, Господи, спаси и сохрани, Господи, спаси и сохрани…

Матюха, убрав целые спички в коробок, вытянул из бидона березовую розгу толщиной в мужской мизинец, очищенную от веток и вымоченную в соляном растворе. Смахнув с нее влагу, он привычно и умело взмахнул розгой, рассекая жаркий воздух:

— Ложись первый.

Наказуемые переглянулись. По лагерной традиции никто никогда не торопился быть первым. Матюха знал это, и не торопил, ожидая, опустив розгу и профессионально держа у ноги.

— Держись, братцы, — традиционно приободрил бригадир, беспокойно шевеля большими пальцами загорелых рук.

Матюха молчал. Он был опытный палач с шестилетним стажем и уже давно перестал повторять расхожие поговорки лагерных палачей, такие как «раньше ляжешь — раньше встанешь», «жопу беречь — голову потерять», «розга с жопой дружат, государству служат» или «розга здоровья

вставит, фыншибин[7] поправит».

— Ну чо? — вздохнул Савоська, глянул на бормочущего Петрова, подмигнул Слонову. — Мне что ль запечатлеться, бригадир?

— Давай, Савося, не робей, — кивнул Слонов.

Савоська вперевалку подошел к «танюше», расстегнул штаны, приспустил синее исподнее, перекрестился и быстро лег. Конвойные тут же пристегнули его ноги и руки ремнями. Матюха завернул ему майку, приспустил исподние пониже, оголяя мускулистые ноги, распрямился и, почти не размахиваясь, звучно, сильно вытянул розгой по упругому, испещренному следами от старых порок заду Савоськи.

— Ёбти-раз! — ощерился Савоська, прижавшись щекой к блестящему на солнце зеленому подголовнику.

Матюха врезал еще.

— Ёбти-два! — сосчитал Савоська.

Розга со свистом ударила в ягодицы.

— Ёбти-три!

На ягодицах проступили лиловые полосы. Матюха сёк легко и сильно, не делая лишних движений, деловито выполняя свою работу и

---

[7] Примечания: Фыншибин
Ревматизм *(кит.)*.

каждым ударом доказывая, что он не даром ест свой хлеб лагерного палача и не даром получает северную надбавку. Он тоже считал удары, но — про себя. Только палачи-любители, волею обстоятельств взявшие в руки бычий кнут, плетку-семихвостку или соленую розгу считают вслух удары. Настоящий же палач должен вершить свое дело молча, дабы ничто не отвлекало наказуемого от телесного наказания, а присутствующих при этом — от назидательного созерцания акта наказания.

Каждому полагалось по тридцать стандартных ударов соленой розги. Если розга ломалась, экзекуция тут же прекращалась. Но сломаться розга могла лишь у неопытного или недобросовестного палача. Матюха же был опытен и добросовестен в деле своем, розги у него ломались крайне редко.

— Ёбти-шестнадцать! Ёбти-семнадцать! Ёбти-восемнадцать! — громко считал Савоська, сжав кулаки и натужено ухмыляясь бригаде.

Черная розга звучно секла его крепкий, напрягшийся зад, лиловые полосы на ягодицах краснели, багровели, окрашиваясь проступающей кровью. Ноги напряглись, спина окостенела, голова подрагивала от напряжения. Савоська сжался, словно кулак, зажимая себя, не впуская

боль в свое тело, борясь с нею по-своему. У каждого, кто хоть раз испытал на себе лагерную розгу, кто лежал на «танюше», кто считал свистящие удары, есть свой способ терпения. Савоська побеждал боль напряжением тела, преодолевал ее мышечным упорством. Видно было, что он не раз встречался с розгой, что знает как с ней договориться.

— Ёбти-двадцать шесть! Ёбти-двадцать семь! Ёбти-двадцать восемь!

Лицо Савоськи покраснело, он щерился уже из последних сил, зубы скрежетали, короткие, слипшиеся вихры на голове дрожали.

— Держись, держись, — подбадривал его Слонов.

— Ёбти-тридцать! — отчеканил Савоська, и улыбку сдуло с его лица.

Он обмяк, ноги расслабленно пошевелились. Конвойные отстегнули его. Савоська, не торопясь встал, подхватив исподние со штанами, показал иссеченный зад конвою:

— Вот вам и картина Репина, а?

— Заключенный, встаньте на место, — спокойно ответил широкоскулый конвойный из-под войлочной шапки.

Савоська, застегиваясь, подошел к бригаде.

— Молодцом! — шлепнул его бригадир по спине.

Матюха, отшвырнув использованную розгу, привычно и недолго потряс правой рукой, давая ей отдохнуть, потом сунул ее в узкое горло бидона, выхватил новую розгу, взмахнул. Соленые капли разлетелись, сверкая на солнце.

— Господи, укрепи… — пробормотал Петров, втягивая белобрысую голову свою в широкие, по-бабьи пухлые плечи.

Салман сплюнул и решительно пошел к «танюше», на ходу развязывая веревку на штанах. Конвойные приняли его, уложили, пристегнули. Плоский, смуглый и волосатый зад Салмана тоже имел отметины. Но не такие густые, как у Савоськи.

— Бисмилле рахмон рахим… — забормотал Салман и отвернулся от стоящей бригады.

Матюха примерился и вытянул его по ягодицам. Салман зарычал.

— Держись, джигит! — крикнул Подкова с полуулыбкой.

Палач сёк Салмана так же быстро, легко, но без спешки, как и Савоську. Чеченец рычал, но не вздрагивал от ударов. Худое, жилистое тело его словно влипло в «танюшу», сросшись с ней.

На каждый свист и удар розги Салман отвечал рычанием. Рыча, он смотрел на сопки.

— Вот так! — Сан Саныч одобрительно почесывал заросший седой щетиной подбородок.

— Салмана розгой не пробьешь, — хмуро смотрел Бочаров.

— Копченый, а как же… — кивнул Савоська.

Шесть коршунов, плавно паря и зависая в глубоком безоблачном небе, пролетели над Стеной из России в Китай.

Рычание Салмана не становилось сильнее или злобнее, он сопровождал им каждый удар, совсем не двигаясь на «танюше». Матюха завершил порку и швырнул розгу за спину. Салмана отстегнули, он встал, подбирая штаны и злобно бормоча по-чеченски.

Все глянули на Петрова. Он вздрогнул, словно его сразу все ударили, и обреченно поволок свое грузное тело к «танюше».

— Не бзди, Петруччо, у Матюхи рука легкая! — успокоил его Савоська.

— Матюх, ты бы устал немного, а? — зло усмехнулся Сан-Саныч.

— Заключенные, отставить разговоры, — сказал конвойный.

Петров, втянув белобрысую голову в плечи,

шел так, словно нес на плечах корзину с пеноблоками. Матюха ждал, облизывая вспотевшие губы, держа розгу у ноги.

Петров сел на «танюшу», неловко завалился на бок, словно на нижнюю полку поезда дальнего следования, вытянул толстые ноги и стал переворачиваться на живот.

— Ложись, чего барахтаешься, — конвойный схватил его руку, пристегнул.

Другой пристегивал широкие щиколотки ног.

— А штаны? — недовольно прищурился Матюха. — Я спускать должен?

Кряхтя, повернув бледное белое лицо на бок, Петров непристегнутой рукой залез себе под живот, развязал веревку и, извиваясь тюленьим телом, с трудом стал приспускать штаны и исподние. Матюха недовольно сдернул их вниз, засучил синюю майку Петрова. Белый, большой зад Петрова тоже был сечен, но не так часто, как у Савоськи и Салмана.

И не успел Матюха замахнуться розгой, как Петров завыл в «танюшу»:

— Винова-а-а-ат! Ох, винова-а-а-ат!

Матюха звучно вытянул черной розгой по этому большому, белому и круглому заду. Зад вздрогнул, но его хозяин остался неподвижен,

влипнув лицом в зеленую, горячую от солнца метало-керамику подголовника:

— Винова-а-а-ат! Ох и винова-а-а-ат!

— Да не виноват ты, ёб твою… — пробормотал Подкова.

Один конвойный погрозил ему пальцем. Другой смотрел на вздрагивающий от ударов зад.

— Винова-а-ат! Ох я и винова-а-а-ат! — выл Петров.

Матюху же его покаяние не задобрило, а судя по всему, разозлило: он стал сечь реже, но сильнее, задерживая руку наверху, как бы примеряясь к каждому удару, а потом нанося удар с сильным оттягом. Петров засучил толстыми ногами, зад его затрясся, как тесто:

— Ну винова-а-а-ат! Ну же и винова-а-а-ат!! — вопил он в подголовник так, что белая шея его быстро порозовела, потом покраснела.

Выгоревшие, коротко постриженные русые волосы его дрожали на затылке мелкой дрожью.

— Чувствительный Петруччо наш, — пробормотал Сан-Саныч и глянул в небо.

Шесть коршунов, полетав за Великой Русской Стеной на китайской территории, разделились: четверо остались парить там же, а двое, попискивая и вяло атакуя друг друга, вернулись в

Россию.

Когда ударов стало больше двадцати, Петров сменил покаянную тему:

— Отцы-ы-ы-ы наши! Отцы-ы-ы-ы-ы наши! Отцы-ы-ы-ы-ы!!

— Ссать хочет, — уверенно закивал некрасивой головой глуповатый Санек.

Ноги Петрова ерзали, затылок мелко трясся, голова все сильнее упиралась в подголовник, расплющивая лицо, но полновесно вздрагивал только зад. Лиловые полосы от первых ударов стали перекрещиваться красными, более сильными, солнце сверкало в мельчайших капельках пота, выступивших на этом белом заду.

На последних ударах Петров уже ревел маралом, слова было трудно разобрать. Он явно раздражал Матюху, вкладывавшегося в удары все сильнее и сильнее. На двадцать восьмом ударе розга переломилась.

— Тьфу, мясо… — плюнул Матюха на зад Петрова, швырнул обломок за спину и, морщась, потряс правой рукой.

Петров же все ревел, тряся вспотевшим красным затылком. Конвойные отстегнули его. Он вмиг успокоился, перевалился с «танюши» на землю, приподнялся и, подхватив штаны, по-

бежал к бригаде. Матюха завинтил свой бидон, кивнул конвойным. Они собрали «танюшу». Матюха быстро и хмуро глянул на бригаду:

— Приятного аппетита.

— Благодарим, — традиционно ответил бригадир.

Палач и конвойные с «танюшей» пошли к вертолету. Вольноотпущенные, оставив привезенные термосы, хлеб и посуду на столе под навесом, последовали за конвойными. Пятеро скрылись в темно-зеленой машине, трап поднялся, дверь закрылась, лопасти ожили, и через минуту вертолет «СТЕНА-восток-182» поднялся в воздух, резво развернулся и улетел на север. В зоне осталась только бригада № 17, стол под навесом, стулья, емкость с питьевой водой и столб безопасности с большими электронными часами, пятью камерами слежения и круглым серым динамиком.

— Заключенные, время на харчевание 16 минут! — объявил динамик.

Простодушный Санек снял синюю, вылинявшую кепку, заспешил к навесу:

— Ну вот, опять поркой харчевание уели.

— На целых четырнадцать минуток! — по-верблюжьи в раскачку зашагал за ним губастый

Бочаров.

— А вы что думали, росомахи? — хромал и зло щурился от солнца Подкова.

Бригада разобрала стулья, уселась за стол. Савоська и Салман опустились на пластиковые стулья, как ни в чем не было. Петров, морщась и охая, сел, ощупал колени и оперся на них большими белыми руками. Сан-Саныч распечатал пачку глубоких тарелок, прессованных из рисовой пульпы. Подкова распечатал пачку ложек.

— Хто ш разливает?

— Я, я, — Тимур открыл термос с супом, отстегнул от него половник и стал разливать в тарелки.

— Перловый? — потянул носом Подкова. — Это хорошо.

Слонов, как всегда, сам распечатал брикет с нарезанным серым хлебом, раздал бригаде. Когда Тимур закончил разливать и закрыл пустой термос, все встали. Слонов перекрестился и заговорил:

— Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ, не лиши нас и Небесного Твоего Царствия, но яко посреди учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, приди к нам и спаси нас.

Он перекрестил стол. Все, за исключением Тимура и Салмана, тоже перекрестились. Бригада № 17 села и набросилась на еду. Суп съели молча и тут же захрустели ложками и тарелками: хлеба в обед давали по три куска, прессованная посуда и приборы были хорошим подспорьем. Съев глубокие тарелки и ложки, распечатали и разобрали плоские тарелки и вилки, тоже сероватые, прессованные из китайской рисовой пульпы. Тимур открыл второй термос, объявил:

— Мясо с рисом.

Бригада одобрительно заворочалась. Мясо давали по вторникам, четвергам и воскресеньям. Сегодня был четверг. По другим дням после супа шла перловая, пшенная или рисовая каша с рапсовым маслом.

Второе разложили по тарелкам и так же молча и быстро съели. Принялись за тарелки, рассовав вилки по карманам: их принято было уносить с собой на стройплощадку и жевать во время работы. Это называлось «глотать вилку».

Хрустя тарелкой, Слонов глянул на часы:

— Девять минут еще. Ну, что, кто сегодня тиснет по-веселому?

Все переглянулись.

— Давай, я! — с готовностью улыбнулся Савось-

ка так легко, словно порки никакой и вовсе не было.

— Хорош тебе, и так тискаешь часто! — зло одернул его Подкова.

— Вчера же рассказывал? — удивился Санек.

— А тебе, чего, не смешно было? — ощерился Савоська.

— Про опричника и деву-то? Смешно.

— Ну и чего ж ты хавало разеваешь, шаби?[8]

— Савось, ты тискаешь в норме, но другие тоже хотят.

— Нехай Савося тиснет, нехай кто новый.

— Бочаров вон тиснуть должен. Этот развеселит!

— Ха-ха-ха!

— А лучше — Петруччо! А, Петруччо? Отцы наши, а?

— Отстаньте, Христа ради…

— Хорош базарить, время пошло, православные.

Сан Саныч обтер кепкой вспотевшее от быстрой еды лицо, надел ее на свою маленькую седую голову:

— Вот что, братва, давайте я быль притисну.

---

[8] Примечания: Шаби
Мудак *(кит.)*.

— Лады, Сан Саныч, — одобрил бригадир.

— Значит так, — начал Сан Саныч, уперевшись в стол смуглыми кулаками со следами цементного раствора вокруг ногтей. — Одна тысяча девятьсот восемьдесят шестой год.

— Я тогда родился, — вдруг пробормотал хмурый Петров.

— Не перебивай. Значит, стукнуло мне тогда двадцать лет. Я, значит, армию отслужил, старшего сержанта получил, вернулся в Брянск, пошел на завод фрезеровщиком. И так стал хорошо хуярить, бля, так заебательски…

— Не матерись, — взял его Слонов за руку.

Сан Саныч покосился на камеру слежения и продолжил:

— Так стал я хорошо работать, вписался в тему яньлиди,[9] продвинулся за год, что меня комсоргом выбрали, а потом ко мне парторг подъехал: давай, Бузулуцкий, мы тебя в партию вступим, двинем по партийной линии. Ну, чего мне? Вступайте, говорю меня в партию.

— Это в какую? — спросил Бочаров.

— В коммунистическую.

— А это что за партия?

---

[9] Примечания: Яньлиди
Круто *(кит.)*.

— Неважно, ёптеть, чего перебиваешь?! — Подкова толкнул Бочарова.

— Вот, — Сан Саныч сцепил пальцы замком. — А парторг этот, Барыбин, он ко мне как-то проникся, ну как отец. У него-то сынок еще школьником утонул, и как-то он меня стал опекать, к себе зовет, чаем поит, разговоры душевные. В общем — попал я под крыло к начальству. И говорит, подготовься, Санек, хуё-моё, партия — дело серьезное, почитай там Ленина, Маркса.

— Это писатели? — спросил Петров.

— Это главные, кто Красную Смуту затеяли, понял? — строго пояснил Слонов. — Хорош перебивать!

— Вот. Ну, я в библиотеку заводскую, тыр-пыр, взял Ленина, Маркса, припер к тетке домой, я тогда с теткой жил, она на этом же заводе, БРЯНМАШе работала в ОТК. Родители-то мои развелись, мать с новым мужем на север уехала, а с отцом у меня хуё… то есть плохие отношения были. Да. И Барыбин это тоже знал. Вот. А у меня тогда той зимой чего-то простатит случился. Застудился как-то, хер знает. Я в армии еще муде застудил однажды, там зимой учения устроили, мы понтонный мост наводили, мороз, бля, двадцать градусов, все попростужались. В

общем — ссать с трудом могу, побаливает низ как-то, рези, бля, слабость. Пошел ко врачу, он теткин знакомый, по блату принял, дал больничный на неделю. Ну, прописал мне там что-то пить, таблетки, а еще — через день ходить к нему на массаж простаты. Сначала говорил: была б у тебя жена, она бы тебе сама могла бы массировать простату, а нет жены — будешь приходить ко мне. Ну, все нормально, читаю я Ленина, Маркса, готовлюсь, смотрю дяньши,[10] а в три часа через весь Брянск прусь к этому доктору на массаж простаты. И он меня пальцем в жопу тычет. Раз, другой, третий. И надоело мне, чего-то, дорога длинная, на двух автобусах ехать, ждать их, в общем, остопиз… ну, надоело. И я подумал: а сделаю я сам себе этот массаж простаты. Взял у тетки такой стальной молоток для отбивания мяса, у него ручка гладкая такая, стальная. Разделся я, значит.

— Тетка дома была? — осторожно спросил Санек.

— Нет, на работе. Разделся, значит до гола для удобства, смазал ручку у молотка маргарином, наклонился, вставил себе в жопу молоток. Чув-

---

[10] Примечания: Дяньши
Телевизор *(кит.)*.

ствую — все нормально. Ручка гладкая, совсем как палец, ну, разве что холодная. Я так вот наклонился, за молоток рукой взял и стал себе этой ручкой массировать простату. Приноровился быстро. И так нормально, хорошо так, массирую, массирую, и радуюсь, что не надо переться через весь город, и теперь сам все могу делать, и поправлюсь, ссать буду нормально, и врач не нужен, буду дома сидеть, дяньши смотреть. И на радостях, не вынимая из жопы молотка, дотянулся я до проигрывателя, включил Тото Кутуньо, «Феличита», врубил погромче, и под музыку стал массировать себе простату. И вдруг — хуяк-пиздык…

Слонов сжал его руку.

— Да, простите православные, вот, значит, — раз, и вижу — в коридоре тетка стоит. А рядом с ней — наш заводской парторг, Барыбин.

Слонов, Подкова, Савченко, Бочаров и Савоська засмеялись. Тимур, Салман, Санек и Петров не смеялись.

— Парторг, оказывается, тетку пораньше отпустил, чтобы меня проведать с ней вместе, она сказала, что Саша заболел. И стоят они в одежде, пялятся на меня. А я, голый, с молотком стальным в жопе под «Феличиту» стою и смотрю на них.

Санек и Салман засмеялись. Тимур непонимающе смотрел на Сан Саныча. Петров мрачно покусывал нижнюю губу.

— Короче, парторг повернулся — и за дверь!

Все кроме Петрова рассмеялись.

— Нормальная байда, — одобрил Слонов, полез в карман, достал что-то завернутое в чистый носовой платок.

Развернул платок. В платке лежала сахарная Спасская башня. Основание ее было обкусано, но верх с курантами и двуглавым орлом был еще цел. Полмесяца назад в лагере бригадир получил в посылке от жены из Твери две пары шерстяных носок, шарф, чеснок, сухари и сахарный Кремль с отломанной Боровицкой башней. Кремль этот на Рождество достался дочке Слонова. Боровицкую башню съели они с матерью, остальное решила послать отцу в далекую Восточную Сибирь. Шла посылка пять месяцев. Слонов, получив ее, сразу разломал Кремль, стены, внутренние соборы и постройки отдал нарядчикам, колокольню Ивана Великого — лагерному повару Томильцу. Кутафью, Никольскую и Оружейную башни бригадир съел сам, сося их перед сном. Троицкую подарил старому лагерному корешу, корейцу Володе Паку. А Спасскую башню решил «определить в фонд

юмора»: каждый день после дневного харчевания кто-то из его бригады должен был рассказать смешную историю, по-лагерному — «притиснуть правильную байду». Если история была смешной, бригадир давал рассказчику откусить от Спасской башни.

— Кусай, Сан Саныч, — бригадир протянул башню, — но токмо снизу.

Сан Саныч взял башню в обе руки, повертел, примерился и с трудом откусил от низа. Сахар был крепкий.

Бригадир забрал у него башню, завернул в платок, сунул в карман. И тут же, как по команде, ожил серый динамик:

— Харчевание завершено! Заключенные, встать, занять рабочие места!

Бригада встала, побрела к Стене. Слонов, Савоська, Подкова и Бочаров закурили.

— Слышь, Сан Саныч, а вони у партию-то тебя принялы? — спросил Савченко.

— Приняли, — сосал сахар Сан Саныч. — Но… ммм… только… ммм… я это… по партийной линии не пошел.

— Чего так? — потягивая папиросу «Россия», Слонов сумрачно посмотрел на три нераспечатанных, кубических, выше человеческого роста,

упаковки с пеноблоками.

На упаковках был одинаковый живой плакат: загорелый, мускулистый каменщик, ловко орудуя мастерком, клал пеноблок на стену, брал в левую руку новый пеноблок, подбрасывал, ловил и озорно подмигивал правым глазом. Из глаза вылетала золотая искра, расходилась веером переливающихся букв во весь плакат: ВОЗВЕДЕМ ВЕЛИКУЮ РУССКУЮ СТЕНУ!

— Да чего-то… ммм… не пошло у меня тогда, — Сан Саныч с удовольствием перекатывал в редкозубом рту кусочек сахарной Спасской башни. — Женился я. Потом развелся. А потом и Красная Смута окончилась. И партия перестала.

— А после по ходу Белая Смута началась? — спросил Савоська.

— Точно… ммм… потом и Белая Смута началась.

— Это когда Трехпалый Враг на танке в Москву въехал? — осторожно спросил Санек.

— Точно! — Сан Саныч, дойдя до Стены, стал натягивать перчатки.

— Все ты это помнишь. Сильно помнишь, — покачал головой Салман. — Старый ты человек.

— Старый, ёб твою! А ты меня догони! — засмеялся Сан Саныч и быстро полез на леса.

Бригада расползлась по местам. Савченко и Тимур неохотно подошли к большому корыту с остатками раствора.

— Бригадир, чи трэба новий раствор замисити, або цэй доберэте? — спросил Савченко.

— Месите новый, — кивнул бригадир и полез на Стену.

Петров, оказавшись на лесах рядом с Сан Санычем, спросил:

— А кто это такой — парторг?

— Чжангуань,[11] — не задумываясь ответил Сан Саныч, берясь за мастерок.

---

[11] Примечания: Чжангуань
Начальник *(кит.)*.

Петрушка

Лилипут Петр Самуилович Борейко, служащий скоморохом в Кремлевской Потешной Палате, вернулся к себе домой после пятничного концерта для Внутреннего Кремлевского Круга в третьем часу пополуночи. Большой красный автобус потешников, как обычно развозящий лилипутов в ночь после представления, подвез его к самому подъезду девятиэтажного кирпичного дома на Малой Грузинской.

Водитель открыл дверь, объявил:

— Петруша Зеленый — на выход!

Дремлющий в заднем кресле Петруша очнулся, сполз на пол, неспешно пошел к выходу. В полумраке салона автобуса, в казавшихся не по размеру большими креслах дремали еще двадцать шесть лилипутов. Все они были в своих потешных костюмах, в гриме, колпаках и шапках. И все без исключения спали. Пройдя по проходу между спящими баба-ягами, лешими, водяными, кикиморами и ведьмами, Петруша протянул свою маленькую ручку водителю и произнес хриплым, скрипуче-высоким голоском:

— Бывай, Володь.

Водитель сомкнул татуированные пальцы вокруг этой ручки:

— Спи спокойно.

Петруша размашисто, в раскачку спустился по ступеням автобуса, спрыгнул на мокрый от непрекращающегося мелкого дождя асфальт. Дверь закрылась, автобус отъехал. Петруша стал подниматься по другим ступеням, каменным, к двери подъезда. Он был в костюме Зеленого Петрушки: в троеверхой зеленой шапке с бубенчиками, в зеленом кафтанчике с громадными пуговицами, в зеленых переливчатых штанах и коротеньких зеленых сапожках с загнутыми носками. Лицо Петруши тоже было зеленым, но с красными веснушками и большим алым носом. За спиной у Петруши болталась зеленая, ярко блестящая даже ночью, балалайка.

В уехавшем автобусе остались спать еще три Петрушки — Красный, Синий и Золотой.

Петруша вытащил пластиковый ключ, приложил к замку исцарапанной и исписанной двери. Дверь пискнула, открылась. Лилипут проскользнул внутрь неярко освещенного подъезда. Здесь было не очень чисто, но зато без следов разрушений или поджогов: три года назад дом у земщины

выкупила Дорожная Управа. Петруша вызвал лифт, но тот не отозвался.

— Тьфу ты, жопа-антилопа! — проскрипел Петруша свое обычное ругательство, вспомнив, что сейчас уже не пятница, а суббота, а по выходным ни один лифт в Москве-матушке работать не должен по приказу управы городской. Экономия! Иностранное слово… А по-русски — бережливость.

Петруша побрел на шестой этаж пешком. На каждую ступеньку приходилось серьезно зашагивать, сильно накреняясь на другой бок. Бубенчики его звенели в такт, зеленая балалайка ерзала за спиной. Так в раскачку он преодолел все пять этажей, подошел к своей двери № 52, приложил к ней все тот же прямоугольный ключ. Дверь пропела «Ах, кто-то с горочки спустился!» и отворилась.

Сразу же в квартире загорелся свет и выкатился большой бежево-серебристый робот Егорр:

— Здравствуйте, Петр Самуилович!

— Здорово, Егорро, — устало произнес Петруша, прислоняясь к низкой вешалке и переводя дыхание после долгого подъема.

Робот подъехал к нему вплотную, живот из бежевого пластика раскрылся, осветился: внутри

робота стояла рюмка водки. И сразу же зазвучал марш тореадора из оперы Кармен. Четыре года назад это стало традицией после каждого ночного выступления в Кремле.

Отдышавшись, Петруша вынул рюмку из живота робота, чокнулся с его серебристым лобком, выпил водку и поставил рюмку на место. Снял с себя балалайку, отдал роботу. Привалившись к вешалке, стянул сапоги. Потом снял свой наряд Зеленого Петрушки, повесил все на руки Егорра. Робот, урча, поехал к платяному шкафу.

Оставшийся в одних черных трусиках Петруша устало потянулся, зевнул и прошлепал в ванную. Здесь уже шумел кран, наполняя ванну пенящейся водой. Петруша с удовлетворением заметил, что робот добавил в воду не надоевший «Яблоневый сон», а «Сказку Семи Морей». Он стянул трусики, перевалился через край ванны и бултыхнулся в воду.

Пена пахла морем. Петруша сразу утонул в ней. Теплая вода, бурлящая вокруг его маленького, уставшего тела, была восхитительна. Выпитая водка распускалась в желудке горячим цветком.

— Ништяк… — выдохнул Петруша и закрыл глаза.

В ванную въехал Егорр с зажженной сигаретой

«Родина». Не открывая глаз, Петруша приоткрыл накрашенный алым рот. Робот вложил в него сигарету, развернулся и замер с пепельницей. Петруша с наслаждением, глубоко затянулся, выпустил из ярких губ струю дыма. Столкнувшись с дымом, пена недовольно затрещала. Петруша снова затянулся, промычал. Робот взял у него сигарету. Петруша со стоном наслаждения схватил свой алый нос, отлепил, швырнул на пол. Потом принялся смывать грим с лица.

Смыв все, он снова открыл свой маленький рот с тонкими, бледными губами. Робот вложил в него сигарету. Вода перестала течь. Петруша курил, расслабленно лежа в ванне и глядя в темно-синий потолок с приклеенными блестящими звездами. На выступлении все прошло гладко, он скоморошил и плясал, как всегда лихо и легко, с «огоньком», вертя «веретёнко», ходя «кочергой», «уткой», «метелицей», «рябчиком», «щукой», «самоваром», «Ванькой-встанькой», а уж когда проходился «американцем» с жопным присядом, весь Внутренний Круг, собравшийся в Гановитой палате, одобрительно хлопал и свистел, а князь Борис Юрьевич Оболуев дважды кинул в Петрушу золотым.

— Два золотых и серебра… рублей на десять… —

пробормотал он, вспоминая и разглядывая звезды.

— Чего изволите? — спросил робот.

— Ничего, — Петруша стряхнул пепел в пену. — Дай-ка еще водочки.

— Слушаюсь, — робот открыл живот.

Петруша вынул из него рюмку, опрокинул себе в рот, отдал роботу.

— Фух… хорошо… — пробормотал он, переводя дух и затягиваясь.

— Хорошо то, что хорошо кончается, — проговорил робот.

— Точно, — закрыл глаза Петруша, откидываясь на пластиковый подголовник. — Собери-ка мне поесть. Только не грей ничего.

— Слушаюсь.

Робот уехал. Петруша докурил, сплюнул окурок в пену. Встал, включил душ. Сильные струи воды ударили сверху из широкой розетки. Петруша ссутулился, скрестил руки на гениталиях. Потом распрямился, задрал голову, подставляя лицо под струи. Ему стало совсем хорошо, усталость утекала вместе с водой.

— Ну вот, — он выключил душ, вылез из ванны.

Снял с низкой вешалки махровый халатик, на-

дел, влез на деревянную лесенку, стоящую перед раковиной, глянул на себя в зеркало: широкое лицо с маленькими, подзаплывшими глазками, курносым носом и маленьким, упрямым ртом. Он взял с полки расческу, зачесал назад редкие волосы песочного цвета.

— Ну вот, — повторил он и показал себе острый язычок с белым налетом. — Будь здоров, Петруша!

Слез враскачку с лесенки, вышел в гостиную. Там Егорр уже заканчивал накрывать на стол.

— Как дела? — Петруша шлепнул своей теплой, белой после ванны ладошкой Егорра по его вечно холодной пластиковой заднице.

— Как сажа бела, — ответил тот, расставляя закуску.

— Осве-жить!

— Слушаюсь.

Петруша достал из Егорра рюмку, отпил половину, подцепил на вилку соленый рыжик, отправил в рот и зажевал. Затем допил рюмку, взял рукой соленый огурец, сел за стол и захрустел огурцом. Перед ним стояли тарелка с нарезанными роботом вареной и копченой колбасами, плошка с баклажановой икрой и не очень аккуратно открытая банка килек в томатном соусе. В центре

стола стоял сахарный Кремль. Все двуглавые орлы и часть стен уже были съедены Петрушей.

— Новости? — спросил он.

— Новостей нет, — ответил Егорр.

— Это хорошо, — кивнул Петруша, взял кусок черного хлеба и с жадностью набросился на еду.

Ел он быстро и с явным усилием, словно работал, отчего голова его вздрагивала, а мускулы лица яростно ходили под бледной, нездоровой, измученной гримом кожей.

— Освежить! — приказал он с полным ртом.

Робот покорно распахнулся.

Выпив четвертую рюмку, Петруша сразу сильно захмелел и зашатался на стуле. Движения его ручек стали неточными, он опрокинул банку с кильками, и отломив хлеба, принялся вымакивать пролитый соус со стола.

— Из-за леса-а-а, скажем, из-за го-о-ор, — запел он, подмигнув роботу.

— Выезжа-а-ал дядя Его-о-о-ор, — сразу ответно подхватил робот.

— Он на сиво-о-ой да на теле-е-еге, — пропел лилипут, икнув.

— На скрипу-у-учей лошади-и-и-и, — пропел робот.

— Да и-го-го-го-го-да! — запели они вместе.

Петруша захохотал, откидываясь назад и роняя вилку. Сжимая в руке хлебный мякиш с вымаканным соусом, он скрипуче похохатывал, раскачиваясь. Робот стоял, помигивая синими глазами.

— Освежить! — тряхнул головой Петруша.

Пластиковый живот распахнулся. Петруша взял рюмку, отпил, осторожно поставил на стол:

— Ну вот…

Перевел плавающий взгляд маленьких глазок на робота:

— Как стекло во множественном числе?

— Вдребезги! — ответил робот.

— Молодец, — икнул Петруша. — А как дела?

— Как сажа бела!

— Мо-ло-дец! — простучал Петруша кулаком по столу.

Недопитая рюмка опрокинулась.

— Фу ты, жопа-антилопа… освежить!

Робот распахнулся. Маленькая ручка вынула из него рюмку водки. Плавающие глазки заметили сахарный Кремль:

— Так.

Он влез на сиденье стула, встал, потянулся к Кремлю, почти ложась на стол. Дотянувшись, отломил зубец от кремлевской стены, сунул в

рот, полез назад, попал ладошкой в колбасу. Сел с размаху на стул, громко захрустел сахаром:

— И как ммм… у нас дела?

— Как сажа бела.

Петруша дробил зубами зубец кремлевской стены.

— Вот что, Егорро, — задумался он, — дай-ка ты мне…

— Чего изволите?

— Дай-ка мне Ритулю.

В комнате возникла не очень качественная голограмма молоденькой лилипутки, сидящей в саду в кресле-качалке. Лилипутка качалась, улыбаясь и обмахиваясь веером, казавшимся в ее миниатюрных ручках громадным.

— Отвернись! — скомандовал Петруша роботу.

Робот отвернулся.

С рюмкой в руке Петруша вылез из-за стола, подошел к голограмме, неловко сел рядом на мягкое покрытие пола, расплескивая водку.

— Здравствуй, Ритуля, — проскрипел он, — здравствуй, дорогая.

Маленькая женщина продолжала раскачиваться и улыбаться. Иногда она подносила веер к лицу, закрывалась им и подмигивала.

— Ритуль. Сегодня опять это. Без тебя скомо-

рошили. Шестьдесят второе представление. Без тебя, — отрывисто забормотал Петруша. — Шестьдесят второе! И без тебя. А? Вот так. И все по тебе скучают. Страшно. Все! Настя, Борька, Огурец, Маринка. И этот… новенький… Самсончик. Водяной который. Все, все. А я тебя страшно люблю. Страшно! И буду тебя ждать. Всегда. А осталось совсем это. Недолго. Полтора годика. Быстро пролетят. Не заметишь. Там, у себя. Не заметишь даже. Пролетят, как птичка. Раз, и нет. И срок кончится. И все у нас будет это. Хорошо. Денег теперь много, Ритуля. Зело много. Сегодня мне князь это. Оболуев. Два золотых кинул. Кинул в морду! Оболуев. А?! И все. И прошлый раз серебра швыряли… просто… ну. Как это. Страшно! Кидают и кидают… И Сергей Сергеич сказал. Точно! Что с нового года прибавят. За выслугу. И будет у меня уже это. Сто двадцать. Золотом. В месяц. И еще швырялово. А?! Заживем королями, Ритуля. Будь здорова там это. Риточка. За тебя.

Он выпил, сморщился, выдохнул. Осторожно поставил пустую рюмку на пол. Посмотрел на качающуюся Риту.

— Знаешь, это. Ритуль. Тут наш Витенька. Налево скоморошил. Это. Для тайноприказных. А?! А там был один опричник. Бухой сильно. Напился.

И Витька так ему понравился, что тот ему три золотых кинул. Сразу! А потом это. Даже его на колени посадил. Иго-го! Вином поил. И сказал, что может мы это. И для опричных представим. Потому что! Опричные лилипутов раньше не любили. А теперь это. Любят. А? Вот. Может быть. А чего? Договорится он с этим. С Бавилой. И все. И станем для опричных плясать. И будет все хорошо. Все! А тот угощал. Витеньку. Так вот. И Витенька наш это. Он зело борзенький. И спросил у тайноприказного прямо. В лоб: ко-гда пе-ре-смотрите де-ло кре-млевских ли-ли-путов?! В лоб! А?! Витенька! А тот выслушал. Серьезно. И ему серьезно это. Отвечает: скоро! Вот так. Серьезно ответил: ско-ро! Ско-ро! А это значит — будет это. Пересмотр. А потом — амнистия. И всех вас, всех шестнадцать вы-пус-тят! Вот!

Петруша щурил свои заплывшие от выпитого, грима и усталости глазки на раскачивающуюся Риту. Она по-прежнему обмахивалась, прятала личико за веер, подмигивала.

— Амнистия, — произнес Петруша и облизал маленькие губы. — Погоди… Я же это. Говорил. Я же тебе говорил! Уже. Да? Погоди… Егорр!

— Слушаю.

— Я говорил Ритуле про амнистию?

— Говорили.

— Когда?

— 12 августа, 28 августа, 3 сентября, 17 сентября, 19 сентября, 4 октября.

Петруша задумался.

Рита качалась, обмахивалась, улыбалась и подмигивала.

— Чего ты? Смеешься чего? Дура.

Он взял пустую рюмку, кинул в голограмму. Рюмка пролетела сквозь улыбающуюся Риту, отскочила от стены, упала на пол. Рюмка была из живородящего прозрачного пластика. Робот тут же подъехал, поднял ее, убрал к себе в живот.

— Пизда! — выкрикнул Петруша, злобно глядя на Риту.

Рита подмигнула из-за веера.

— Погоди… — Петруша озабочено скривил губы, вспомнив что-то. — Погоди, погоди… Егорр!

— Слушаю.

— Мне захотелось! Быстро! Это! Это! Колпак!

Егорр подъехал к платяному шкафу, открыл, вынул зеленый трехверхий колпак Петрушки.

— Быстро! Давай!

С колпаком в руке робот поехал к Петруше.

— Быстрей, жопа-антилопа! Живо!

Шатающийся Петруша выхватил у него колпак,

нахлобучил на голову, скинул халат, оставшись голым.

— Самого давай! — закричал он.

Сразу же исчезла голограмма Риты и возникла другая: государь, сидящий в царской ложе Большого театра.

— Здравы будьте, государь Василий Николаич! — выкрикнул Петруша, и попытался пройтись «самоваром», но упал.

— Здравы, здравы будьте…

Он заворочался, поднялся, шатаясь. Поклонился государю, отдал честь и забормотал:

— Есть подарочек для Вашей царской милости от болотной гнилости, от медной ступы, от конской залупы, от кошачьей сраки, от хромой собаки, от голодной бляди, от больного дяди, от мясной колоды, от сырой погоды, от битой рожи, от рваной одёжи, от ползучего гада, от ядерного распада, от гнилого крыльца, от клейменого молодца, от худого лукошка да от меня немножко.

Он наклонился, выставив свой сухонький зад прямо перед спокойным лицом государя:

— Егорр! Запал!!

Робот поднес к заду свой средний палец-зажигалку, вспыхнул огонек. Петруша громко выпустил газы. Они вспыхнули зеленовато-жел-

тым. Быстрое пламя съело голову государя и погасло. В голограмме образовалась дыра. Государь по-прежнему сидел в ложе, но без головы и части левого плеча.

Петруша выпрямился, пошатываясь, отошел от голограммы, глянул:

— Ну вот.

Совсем заплывшие глазки-щелочки весело оценили ущерб, нанесенный государю:

— Ништяк! А, Егорр?

— Так точно.

— Ну-к, это… дай прошлый.

Рядом с голограммой возникла точно такая же, но поменьше. На ней у государя не было только шеи и подбородка.

— Во, видал?! — Петруша подошел к роботу, обнял его за граненое бедро. — Тогда бздёх низом пошел. И это. Слабо я тогда, а? Слабо пёрнул, а?

— Так точно.

— А сегодня? Как я? Круто! А? Егорр!

— Так точно.

Петруша и робот стояли, разглядывая голограммы. Покачивающийся и перезванивающий бубенчиками колпак на голове Петруши то и дело прислонялся к узкой талии робота.

— Осве-жить! — скомандовал Петруша.

И протянув руку, вынул из робота рюмку, расплескивая, понес ко рту, хотел было выпить, но остановился, перехватил рюмку в левую руку, а правой показал голограммам кукиш:

— Вот тебе!

Толкнул локтем робота:

— Егорр!

Робот сложил кукиш из серебристых пальцев, показал голограммам:

— Вот Вам, государь Василий Николаевич.

Два кукиша, один серебристо-строгий наверху, другой розовато-белый, покачивающийся, внизу, надолго повисли в воздухе.

Петруша устал первым, опустил руку.

— Молодец! — он шлепнул робота по заду, выпил, швырнул рюмку за спину.

Робот тут же развернулся, поднял ее, убрал в себя.

— Это… — Петруша почесал голую, безволосую грудь. — Надо это…

Его заплывшие глазки-щелочки оглядывали гостиную.

— Егорр!

— Чего изволите?

— Это… — короткопалые ручки Петруши беспокойно зашарили по груди. — Я это…

— Чего изволите? — смотрел на него робот.

— Как это… — мучительно вспоминал лилипут, и вдруг размашисто сел на ковер, завалился на спину, но поднялся, встряхнул головой.

Бубенчики зазвенели. Робот смотрел на хозяина. Тот молча смотрел на робота, шевеля пальцами рук и ног.

— Ты… кто? — спросил Петруша, еле ворочая языком.

— Я робот Егорр, — ответил робот.

— И как… дела?

— Как сажа бела.

— А ты… это… ну…

— Чего изволите?

— Ты… кто?

— Я робот Егорр.

Петруша поднял руку, потянулся к роботу, шевеля губами, но вдруг рухнул навзничь и затих. Робот подъехал к нему поближе, опустился на колени, медленно наклонился, взял Петрушу на руки, выпрямился, встал. Поехал в спальню. Петруша спал у него на руках, открыв маленький рот. Робот положил его в разобранную кровать, накрыл одеялом. Снял с головы спящего колпак, поехал в гостиную. Убрал колпак в платяной шкаф. Убрал со стола. Выключил голограммы.

Выключил свет. Подъехал к стене. Переключился на спящий режим. Синие глаза его погасли.

Кабак

Питейный дом «Счастливая Московия» на углу Неглинной и Малого Кисельного, принадлежащий крещеному еврею Абраму Ивановичу Мамоне, к восьми часам вечера уж полон разнообразнейшей публики.

Кого только не встретишь здесь! Земские копченые с опальной Трубной улицы и прилежащих переулков, мокрые наемники с трудовой биржи, целовальники из закладных контор Самотеки, учащиеся старших ступеней ремесленного училища № 78, студенты архитектурного института, китайцы с Троицкого рынка, отставные клоуны и акробаты с цирка на Цветном бульваре, спивающиеся актеры из театра Теней, торговки из соседних лавок, бульварные проститутки, наутилусы, палачи, глупенькие, сбитеньщики, калашники и просто пьяницы.

Необъятный, задымленный, всегда пропахший водочным перегаром, пивом, вяленой рыбой и человеческими испарениями подвальный зал кабака строго поделен на сословные и деловые зоны: здесь, например, у исписанной занозисты-

ми стихами и облепленной живыми картинками бетонной колонны шумят студенты с ремесленниками, чуть поодаль «сосут пивко с прицепом» цирковые, под навесом из светящегося живородящего волокна гужуются говорливые китайцы, в углу возле обшарпанного кондиционера «опрокидывают» рябиновую хохотливые торговки, отстоявшие в лавках свою смену, рядом с ними выпивают сбитеньщики, калашники, разносчики дешевой еды, в узком «тамбуре» пропускают по рюмочке «клюковки» перед выходом на бульвар ярко накрашенные проститутки, а в самом дальнем углу, за четырьмя столами, навсегда сдвинутыми и скрепленными (с разрешения самого Мамоны) стальными скобами, степенно восседают за стаканом «кровавой Маши» местные палачи.

Палаческий стол особенный в мамоновском кабаке: за него никто, кроме палача или подпалачника, сесть права не имеет. Посетители это знают, и даже по пятницам, когда кабак набивается битком, стол палачей может стоять пустым, и даже самый пьяный сбитеньщик со своей торговкой из «Страны Муравии» не рискнет за ним пристроиться.

Сейчас за палаческим столом сидят шестеро:

палачи Матвей Самопал-Трубников, Юзя Лубянский, Шка Иванов и ихние подпалачники — Ванька, Соболь и Мишаня. Самопал-Трубников сечёт на Трубной площади, Юзя — на Лубянской, Шка Иванов — далековато отсюда, на Пятницкой. Самый старший и опытный среди них — Матвей. Сечёт он уже девятый год и пересёк по его словам без малого восемьдесят тысяч жоп. Осанист Матвей, широкоплеч, окладист бородою. Как выпьет пару стаканов «Машеньки», так сразу хвалиться горазд.

— Кого я токмо не сёк, — степенно басит он, прихлебывая из стакана. — Опальных князей Солодилиных, четверых генералов из генштаба, председателя Умной Палаты, сестер-графинь Ворониных за растление малолетнего князя Долгорукова, государева скотника Миронова за преступное равнодушие к животным. Почитай, сто столбовых жоп в год через кнут пропускаю.

Матвей из всех трех палачей самый убоистый, он кнутом сечёт. К своему кнуту относится уважительно, часто повторяя пословицу любимую: «Кнут не архангел, души не вынет, а правду скажет». Юзя Лубянский и Шка Иванов палачи легкие, они розгой соленой государево Слово и Дело на задницах подданных запечатлевают. Их

присказка любимая: «Розга ум вострит да дух бодрит». Помоложе они Матвея, любят авторитетного палача подкольнуть-высмеять.

— А что, Матюша, не слепят тебе глаза жопы сиятельные? — спрашивает Шка Иванов, а сам сквозь очки круглые Юзе подмигивает.

— Не боись, не ослепну. Зато руку, как вы, не вывихну. Редко машу, да метко. Мой замах десяти ваших стоит.

— Так с тебя и спросу больше, и задняя обида на тебя крепче! — улыбается Юзя. — А мы что — помахали, да и разошлись. И народ простой на нас не серчает. Не столбовые жопы сечены, чай!

— И нам, и жопам одно главное — побыстрей! — вставляет Соболь.

— Жопа жопе — рознь, — не соглашается Матвей. — Иную жопу отсечешь — словно причастишься.

— А на иную — и плюнуть жаль, — кивает Шка Иванов. — Мало жоп достойных осталось, братцы.

— Достойные жопочки в женских гимназиумах обитают, — хитро улыбается подпалачник Мишаня. — Опаньки, опаньки по девичьей попоньке! Отсечешь пяток — душой помолодеешь.

— Дело свое честно вершить надобно, без коры-

сти, понял? — поучает его Матвей.

— Как не понять! — лукаво усмехается Мишаня, пальцами «кавычки» делая.

— Без интереса токмо в лагерях секут, — возражает Юзя. — Я не робот, чтоб без любви дело государево вершить. Надобно и розги любить и жопы. Тогда противоречия в душе не будет.

— Я свой кнут люблю, кто спорит? — оглаживает бороду Матвей. — Но люблю непорочно.

— Мы, Матюша, розги тоже непорочно любим, — рассуждает Юзя. — Среди нас садистов нет.

— Кнут и розга — яко альфа и омега, — вставляет Ванька.

— У кнута своя метафизика, а у розги своя… — прихлебывает из стакана Шка Иванов.

Вваливается в кабак известный нищий с Трубной площади — Никитка Глумной. Крестится, кланяется:

— Здравия и благоденствия всем тварям!

Знают его в «Счастливой Московии», любят. Со всех сторон к Никитке сразу предложения:

— Седай с нами, деловой!

— Никитка, глотни пивка циркового!

— Прыгай ко мне, блоха!

Но у Никитки свой узор: по средам и пятницам

он к столам не присаживается, а только обход кабака делает, живые картинки показывая да выпивая понемногу, и — опять на Трубную.

— Садись, выпей, колода приплывная! — громогласно зовет его Матвей.

— Не велено Богородицей в день постный рассиживаться, — подковыливает к ним Никитка, обнажает *умную* машинку, на грязной груди висящую, оживляет ее. — Видали, чем государыня наша по ночам занимается?

Выдувает *умная* светящийся пузырь: государыня в своей опочивальне мажется мазью голубой, оборачивается голубой лисицей, бежит на псарню кремлевскую. А там отдается кобелям.

— Видали, видали, Никитка, — усмехается Шка Иванов. — Слепи чего поновей.

— Поновей? Слыхали, в Кремле есть красавица — три пуда говна на ней таскается, как поклонится — полпуда отломится, как павой пройдет — два нарастет! Угадайте кто это?

— Невестка государева.

— Скоро расшибет их обоих Илья-Пророк молоньей за блядство! Сожжет огнем небесным паскудниц!

— Не сожжет, — зевает Матвей. — Как еблась государыня наша, так и будет еться.

— Токмо не с кобелями, а с гвардейцами, — кивает Шка.

— Ты бы, Никитка, лучше чего про сынка государева слепил. Давненько про него глумных вестей не было!

Подходит Никитка к столу, опрокидывает сходу рюмку водки, занюхивает рукавом:

— Сын государев содомским грехом болен.

— Ну, ну? — оживляются палачи.

— Но не по собственному хотению.

— Как так?

— Заражен содомией по расчету внешних врагов государства Российского.

— И кто же его заразил?

— Сербский посол Зоран Баранович.

— Они же старые друзья с государем, чего ты мелешь? Вместе на охоту ездят.

— Куплен Баранович заокиянской содомской плутократией.

— И как он его заразил?

— На другой день после Яблочного Спаса устроена была рыбалка государем на Плещееве озере. После рыбалки в баню пошли. Там Баранович и подсыпал сыну государеву в квас снадобье. Сын и воспылал. А Баранович в него и внедрился путем содомским.

— Проложил, так сказать, тайную дорожку! — усмехается Мишаня.

— Теперь плутократы по сей дорожке своих агентов пускают. Раз в неделю!

— А доказательства? — оглаживает бороду Матвей.

— Будут! — хлопает Никитка грязной рукой по своей *умнице*. — Ладно, некогда мне!

Отходит от стола палаческого, идет к цирковым. Здесь его всегда ждут:

— Никитка, глотни!

— Не погнушайся, перекатный!

— Залейся, родимый!

Принимает Никитка рюмку от цирковых, выпивает, закусывает пирожком. Сообщает:

— На ипподроме вчерась в жокейской беседке жена конюха родила тройню.

— Ну?

— И все трое — с жеребячьими головами.

— О-ха-ха-ха!

Пока цирковые отхахатываются, Никитка уж к студентам прибился. Подносят они ему пива жигулевского. Отхлебывает Никитка из кружки:

— Слыхали новость про глину мозговую? Сделали китайцы такую, что не токмо для роботов сгодится, но и для людей!

— Будет брехать-то, Никитка!

— Истинно, истинно говорю! Прошла сия глина тайные испытания у нас в Сибири: закачали ее шприцами в головы мужикам в селе Карпиловке, да шибко много, не рассчитали.

— Ну?

— Так те мужики к утру написали государю уложение: «Как правильно обустроить русскую деревню».

— И что в сем уложении?

— Прописали, что надобно каждому крестьянину уд стальной приделать, дабы все могли землю пахать беспрепятственно! Вот, полюбуйтесь сами!

Показывает Никитка свои картинки глумные. Хохочут студенты, чокаются кружками с Никиткой. А он не задерживается — уже к китайцам ковыляет:

— Ваньшан хао,[12] поднебесные!

Вот вваливается в кабак спившийся подьячий из Казначейской Палаты, у которого в одночасье бас прорезался. Крестится на все четыре стороны, запевает:

Как во стольном городе,

---

[12] Примечания: Ваньшан хао
Добрый вечер *(кит.)*.

Во Москве-столице
Три бездомных пса
Шли воды напиться
Во полуденный час.

Один белый пес,
Другой черный пес,
Третий красный пес.

На Москву-реку пришли,
Место тихое нашли
Во полуденный час.

Стал пить белый пес — побелела вода.
Стал пить черный пес — почернела вода.
Стал пить красный пес — покраснела вода.

Потряслась земля, солнце скрылося,
Место лобное развалилося.
Развалилося, разломилося,
Алой кровушкой окропилося.
А с небес глас громовый послышался:
— Тот, кто был палачом, станет

жертвою!

Аплодируют бывшему подьячему, подносят ему выпить, к себе зовут, сажают.

С шумом и хохотом вкатываются в кабак Танечка и Дунечка, неразлучные цветочницы с Трубной. Как только распродают они незабудки свои, так сразу подружек на клюковку тянет-пробивает. Танечка статуарна, корпулентна, Дунечка изгибиста да извивиста. Завсегдатаи к ним сразу:

— Ярлык проходной!

Понимают Танечка с Дунечкой. Раскрывают рты, языки свои раздвоенные показывают, языками вибрируют. Хлопают завсегдатаи, посвистывают, пропускают. Кто-то из студентов остроумит:

— Вы нам нижние язычки покажите, верхние-то мы уже видали!

Появляется цирковой коверный Володька Соловей. Подсаживается к своим, пьет, хмелея быстро, заводит старый разговор: когда его опендалят, то есть, турнут из цирка? Заходится, плачет, оправдывается:

— Я же лучший коверный! Лу-у-у-учший! Как они могут?!

Успокаивают его цирковые:

— Не бзди Вова, не посмеют!

— Посмеют! Ох, как и посме-е-е-еют! — блеет Соловей, слезу пуская.

Вбегает в «Счастливую Московию» запыхавшийся наутилус в светящимся ватнике со значком «Народ и Воля», прибивается к своим, выпивает залпом стакан кувалды, сообщает:

— На Пушкинской опять твердых приняли.

— Кого?

— Каспара, Касьяна и Лимона.

— Всех? Да ну?!

— Вот те и да ну.

— По-подлому?

— Нет, по-честному.

— В 45-е?

— Ну, а куда ж еще!

— Опять заносить придется.

— Да уж придется. Тереби бобров.

Кого-то из студентов подвыпивших на стих пробивает. Встает поэт кудрявый с кружкой пивной в руке на стул, декламирует:

Бледноликих юношей предплечья
Я целую ночи напролет.
Снятся мне любовные увечья,
На груди моей — твой белый мед.

Юноша, стремительно раздетый,
Застонал от боли… Что ж с того?
Снова будешь распят на кресте ты
Трепетного тела моего!

Хлопают товарищи студенту кудрявому, кладут ему в кружку с пивом вишневого варенья. Так уж заведено у студентов московских — пиво вареньем сдабривать. На языке студенческом называется это «добавить хорошенького». Причем, у каждого заведения — своя традиция добавления «хорошенького»: университетские в пиво малиновое варенье кладут, политехнические — абрикосовое, математики — крыжовенное, металловеды и станкостроители — яблочное, экономисты — клубничное, нефтяники-газовщики — сливовое, дорожные строители — земляничное.

Кто-то из ремесленных анекдот рассказывает:

— Заходит отец Онуфрий в класс: «Отроцы, сколько будет дважды два?» Ванечка Залупин руку тянет. Отец Онуфрий: «Залупин»! Ванечка встает: «Батюшка, дважды два будет двадцать шесть». Отец Онуфрий: «Садись, Залупин. Очень плохо. Дважды два, будет четыре. Ну, в крайнем случае — пять, ну, шесть, ну восемь, ну двена-

дцать, в конце концов. Но никак не двадцать шесть, дубина стоеросовая!»

— Это у нас уж годик как с бородою! — щелкает его по носу студент-архитетор. — Послушай-ка, земеля, новинку: Заходит отец Онуфрий в класс: «Отроцы, вопрос: Бог сотворил человека ради труда или ради наслаждения?» Ваня Залупин руку тянет. Отец Онуфрий: «Залупин!» «Ради труда, батюшка». «Обоснуй!» «Батюшка, Бог дал человецам десять пальцев, но всего лишь один хер». «Что ж, Залупин, отвечено верно, но обосновано пре-по-хаб-ней-ше!»

— Ха-ха-ха!

Между двумя фальшивыми окнами с живыми русскими пейзажами (в левом — зима, ямщик на тройке едет, в правом — лето, березки шелестят, девки хороводом ходят) за круглым столом сидят целовальники с торговками, пьют рябиновку да чай вприкуску с сахарным Кремлем. Сегодня у целовальника Андрея Петровича именины, не пожалел он сыновний сахарный Кремль ради этого порушить:

— Угощайтесь, товарищи! У меня дома еще два таких!

— Ай, спасибо, Андрей Петрович! Уважил!

Доволен целовальник, лысина блестит, очки

посверкивают, усы завитые торчат. Пьют-гуляют с ним вместе целовальники Басаня, Горшок, Сергуня, Димуля со своими деловыми подружками. Хрустит сахарный Кремль у них на зубах.

Мелькает-перекатывается в дыму табачном какой-то Пургенян, как говорят, известный надуватель щек и испускатель ветров государственных, бьют друг друга воблой по лбу двое дутиков, Зюга и Жиря, шелестит картами крапленными отставной околоточный Грызло, цедят квасок с газом цирковые: штангист Медведко и фокусник Пу И Тин, хохочет утробно круглый дворник Лужковец, грустно кивает головою лотошник Гришка Вец, над своим морковным соком склоняясь.

С воплями-завываниями вбегает в кабак Пархановна, известная кликуша московская. Толстопуза она, кривонога, нос картошкой, сальные пряди над угреватым лбом трясутся, на груди икона с Юрой Гагариным сияет, на животе за кушаком поблескивает позолоченный совок. Встает Пархановна посреди кабака, крестится двумя руками и кричит что есть мочи:

— Шестая империя!! Шестая империя!!!

— Иди поешь! — успокаивают ее ремесленные.

В злобном углу, где сидит местная земщина,

подкопченная опричниками, крутится семейство балалаечников Мухалко. Шустрые это ребята, оборотистые, веселить и деньгу выжимать умеют. Говорят, когда-то в шутах кремлевских ходили, но потом их за что-то оттуда опендалили. Запевала у них, по кличке Масляный Ус, хорошо и поет, и играет, и вприсядку ходит, но главное — у него всегда песни задушевнее и глаза на мокром месте. А народ наш и песню, и слезу уважает. Вот и сейчас подкатил Масляный Ус к подкопченным: тренькнул балалайкой, притопнул, прихлопнул, подмигнул своим бодрым очкарикам. И грянули они:

Мохнатый хам — в протестанский храм,

Крыса серая — в закрома,

А дворянская дочь — под опричных в ночь

По закону большого ума.

Так вперед, за опричной елдой кочевой

В терема, где дрожат голоса

И персты гла-а-а-адят с вожделенной тоской

Багровеющие телеса-а-а-а-а!

И вверх по елде, навстречу судьбе
Трепетным языком… Бог с тобой.
Так и надо вести, не страшась пути,
Если хочешь остаться живой!

Одобряет крамолу обиженная земщина, кидает Масляному в шапку медяки. А тот со слезою принимает:

— Спаси вас Бог, голубчики, спаси Бог, драгоценные!

Но не ко всем добры завсегдатаи кабака мамоновского.

Вот распахивается дверь, входит злобно-приземистый, небритый, красноглазый затируха площадной Левонтий. Хрипит:

— Однако, здравствуйте!

— Однако, пшёл на хуй! — в ответ доносится.

Скрипит зубами Левонтий, сверкает глазками красными, разворачивается, уходит. Не всех, ох, не всех привечают в «Счастливой Московии»!

Как только пробивают полночь живые часы, появляется и сам Мамона. Невысок он, округл, бородат, плешив, косоглаз, лукав. Кланяется гостям, приветствует, неспешно обходит заведение свое, спрашивает как обычно:

— Все ли добропорядочно, гости дорогие?

— Все добропорядочно, Абрам Иванович! — отвечают ему хором.

— Никто не буянит?

— Не допустим, Абрам Иванович!

— Никто никого не обижает?

— Не позволим, Абрам Иванович!

Кивает Мамона, щурясь лукаво, уходит. А «Счастливая Московия» продолжает пить, шуметь и бурлить до трех часов ночи. Едва пробьют часы 3:00, половые всех рассчитают, уйдут, уступая место крутоплечим вышибалам-ингушам. Те электрическими метлами потеснят подзагулявшую публику к выходу.

И неизменно ровно в 3:12 закроются двери «Счастливой Московии», чтобы в 18:00 распахнуться сызнова: добро пожаловать, гости дорогие!

Очередь

— Православные, кто крайний?

— Наверно я, но за мною еще женщина в синей шубе.

— Стало быть, я за ней?

— Стало быть, так. Становись-ка, мил человек, за мной.

— А вы стоять будете?

— А как же!

— Я на минутку отойти хотел, на минутку токмо…

— Ты сперва ее дождись, а после уж ступай с Богом, куда хочешь. А то подойдут, отойдут, а мне объясняйся. Так, чай, язык вывихнешь! Подожди. Она рекла, что быстро воротится. За угол пошла, видать, в лавку.

— Ладно, делать нечего. Дождусь. А давно ли стоите, папаша?

— С полчаса.

— А не знаете, по сколько дают?

— Черт их знает, прости Господи… Я и не спрашивал. Эй, борода, не знаешь, по сколько дают?

— Сегодня не знаю. Слыхал, что вчера давали

по два в одни руки.

— По два?

— Ага. В четверг — по три, а вчера — по два.

— Маловато. Так и стоять-то смысла нет…

— А ты, мил человек, займи две очереди. Тут деревенские и по три занимают.

— По три?

— А как же. По три.

— Так это целый день стоять придется!

— Да ты что! Быстро же отпускают.

— Не верится что-то, папаша. Стоим, с места не сдвинулись.

— Да это те, которые отошли, подваливают. Посему и не движемся… А вот и женщина.

— Я ведь за вами занимала?

— Точно так, сударыня. Вот этот молодой человек за вами.

— Да, я за вами.

— Прекрасно. Мы продвинулись?

— По всему судя — не сильно.

— Интересно знать, до двух купим?

— Может и купим. А может, и нет.

— Я до обеда отпросилась на службе. Господи, почему так много народу понабежало?

— Кремлевский бой, а как же.

— Мда…

— Токмо раз в году такой подарочек. Красивая шуба у вас.

— Спасибо.

— Я такие шубы в Москве видал. Живородящие как правило светлых тонов? А эта — синяя. Зело необычно!

— Эту шубу мне купили в Москве.

— Я так и подумал. Во, как она снег жрет!

— Проголодалась в тепле, знамо дело.

— А что для таких вот синих шуб вкуснее — снег или дождь?

— Снег, конечно. Вон, как тянется… ну, покушай, покушай, милая.

— Просто, я знаю, живородящие шубы и на дождь зело прожорливы. Но, такой цвет…

— Моя снег больше любит. И как наестся, сразу тепло становится. Когда сильный снегопад — мне прямо жарко.

— Да, красивая шуба. А хозяйка еще красивее.

— Да, бросьте вы.

— У вас глаза прямо в тон меха. Свои?

— Нет. Разочарованы?

— Ничуть. Скажите, я вас мог видеть нынче в Вятке на масленицу?

— Нет. В Вятку я ездила последний раз в декабре.

— Правда? В соборе справа не стояли? У «Параскевы Пятницы»? Снежную крепость не обороняли?

— Вы шутник. У нас тут своя снежная крепость.

— Пошто смеетесь? Я точно видал вас в Вятке.

— На масленицу мы с мужем ездили к тетке в Глазов.

— В такую глухомань? Пошто?

— Поесть свинины. У тетки тридцать шесть свиней.

— Хорошая тетка у вас. На своем тягле?

— Нет, они с дядей не тягловые.

— Стало быть, на оброке?

— Да. Это выгодней.

— А как же. Задельным быть лучше, чем тягловым. Ну, и покушали вы там свининки?

— Ой, да. У тетки свиньи китайские, чжу-далиши, мясо мраморное, такое вкусное. Я поправилась фунтов на двенадцать.

— Вам полнота к лицу.

— Ах, что вы… Ну, вот, вроде двигаемся.

— А что, в Чепце еще рыба водится?

— Не знаю. Про рыбу не имею никаких понятий.

— Вы, стало быть, в Глазове токмо свининку

наворачивали?

— Ох, да! Обожаю запеченную с чесноком.

— Окорочок?

— Да! А тетка еще зело возлюбила свиную колбасу запекать в печи на сковороде с жиром нутряным, да с картошечкою, да с репкой…

— Умоляю, не надобно дальше, слюною изойду!

— Ну, ну, двинулись… вот и зашевелилась очередища, наконец.

— С вашим приходом все пошло быстрей. Вы — синяя муза этой очереди.

— Вы такой шутник. Как вас жена терпит?

— Я безсупругий.

— Не может быть.

— Может.

— Такой видный мужчина, и без жены. Так не бывает.

— Мы расстались осенью.

— Вас развели?

— Развели.

— Быстро?

— Три месяца тянулось. Пришлось подмазать.

— Ну, понятно.

— Теперь свободны друг от друга.

— А дети имеются?

— Дочка осталась с женой.

— Поди, скучаете?

— А как же. Дочка — яко щепа в сердце. Не вылезает.

— Знаете… простите, как вас зовут?

— Трофим Ильич.

— Зело приятно, а я — Вера Константиновна.

— Прекрасное имя. Соответствует вашей стати.

— Так вот, Трофим Ильич, я вам скажу яко на духу: я великая супротивница разводов.

— У моей жены был полюбовник.

— Это большой грех, конечно. Но Господь учит нас прощать грехи ближнему. Ваша бывшая жена, она покаялась?

— Покаялась. Ездила в Оптину замаливать грех.

— А вы ее наказали?

— Да. Я дважды водил ее в участок.

— Посекли ее там?

— Да.

— И вам этого мало?

— Не в том суть, Вера Константиновна.

— А в чем же?

— А в том, что… старичок, не надобно пихаться!

— А кто ж пихается?

— Ты и пихаешься.

— Это там поднаперли.

— Отступи, Христа ради, и не пихайся… Так вот, досточтимая Вера Константиновна, суть в том, что я жене своей после этого веру потерял. А потом сам влюбился в одну женщину. Правда, из этого ничего не вышло. Но с женой я не сподобился больше в сношениях быть.

— Вы совершенно отчуждились?

— Да.

— Отчуждение — грех.

— Знаю. Но спали мы после всего порознь.

— А ваш духовник? Он разве не помог вам сохранить семью?

— Батюшка наш добр безмерно. Наложил на жену поклоны, стояние на ядрице… Но суть в том, что сдается мне, он жену мою не больно-то и осуждал. Доброта его отприродна и посему безгранична, бо заквашена, возведена и обустроена на христианском добротолюбии. Он всегда речёт: «Нет греха, которого Господь простить не может».

— Истинно так.

— Коли жена свой грех в Оптиной Пустоши замолила, так стало быть — прощена?

— Прощена.

— А я ее простить не смог.

— Это уже ваш грех.

— Мой, мой. Но простить не могу.

— Знаете, Трофим Ильич, мне кажется, вы просто мало секли вашу супругу.

— Я не любитель порки.

— Вам не надобно было вести жену в участок и класть под чужие розги, а посечь ее самому, и как следует. Мой муж никогда не водит меня в участок.

— Он часто вас сечёт?

— Раз в неделю. По субботам.

— Часто. Есть за что?

— Ну… знаете… грех всегда найдется. Но между нами говоря — есть за что.

— Ха-ха-ха! Вы зело откровенны!

— Грех-то сладок, как говорится. Я женщина слабая, а нечистый искусен в сетях своих.

— Знамо дело. Не согрешишь — не покаешься.

— Святая правда!

— Но, честно говоря, раз в неделю… сие как-то… больно часто!

— Ничего, я привыкла.

— А тело ваше, простите, тоже привыкло?

— Меня пробить не просто. Да и хорошие снадобья имеются. Мази.

— И вы не держите зла на муженька?

— Что вы! Бьет — значит любит. А потом — он же не дерется, как пьяный, а розгою сечёт, как по «Домострою» уложено. Мама моя вон мне обзавидовалась: в ихние времена-то смутные сечь жен не положено было, потому как безбожною Россия была. Мама говорит: «Ежели б меня отец твой покойный сёк по субботам, мы бы сейчас жили в трехэтажном доме».

— Нет, я не против порки по сути, но все надобно делать обдуманно…

— Все надобно делать, как уложено, Трофим Ильич. Наше дело бабье — мужу подчиняться. Муж у меня мужчина обстоятельный, неспешный. Домовитый. И сечёт так же — без спешки, правильно.

— Мда… озадачили вы меня, Вера Константиновна.

— Чем же? Что муж любимый меня к кату в участок не водит? Это вы меня озадачили. Ой, как быстро подвигаемся-то! Наконец-то! Эдак я и до обеда успею.

— Успеем, с вами везде успеем. Ух, какой гладкий мех… Все-таки живородящие шубы — что-то особенное.

— Нравится? Погладьте ее, ей тоже приятствен-

но.

— Нежная…

— Вы ей тоже понравились.

— Знаете, у меня такое чувство, будто мы с вами старинные друзья.

— Вот как?

— Нет, не смейтесь.

— Я не над вами. Мне просто хорошо.

— Правда, я вас где-то видел. Вы где служите?

— В «Добрыне».

— Вы создатель?

— Нет, преобразователь.

— По *умным*?

— По ним, родимым.

— Никогда бы не подумал, что такая красавица занимается *умницами*.

— Вы полагали, что я всего лишь домохозяйка? Нет, я с ухватами возиться не люблю.

— А кто же у вас дома у печи стоит?

— Стоят мама, две бабки да стряпуха. А по выходным и сволочь помогает.

— Хорошо, когда родные живы.

— У вас уже нет?

— Отец в Абхазии погиб, от грузинской пули, еще, когда я мальчиком был. А мама уехала с китайцем.

— И вас бросила?

— Вроде того. Я при бабушке и мальчишествовал и отрочествовал.

— Наверно, бабушка вам потворствовала?

— Не без того. Но и наказать могла. Рука у нее была тяжелая.

— Сирота вы горемычная.

— Я веселый.

— Заметила уже.

— Вера Константиновна, мы уже у цели. Девять человек впереди нас осталось! Вот как с вами быстро все оборачивается!

— Скажите на милость, вы бой кремлевский для дочки покупаете?

— А для кого ж еще? А вы?

— Моим.

— У вас…

— Трое.

— Превосходно! Видать, у вас состоятельный муж. Да и по шубе видать.

— Да, не бедствуем, слава Тебе, Господи. Муженек мой купец.

— Чем торгует?

— Зимою — сиянием, а летом — самокатами.

— Доходное дело.

— Не жалуемся. А вы-то чем хлеб насущный

зарабатываете?

— Никогда не угадаете.

— Сдается мне, вы государственный, не деловой.

— Не то и не другое.

— Тогда церковный?

— Тоже нет.

— Откупщик?

— Нет.

— Тягловый?

— Эка, куда хватили…

— Ну, неужели захребетник?

— Плохо думаете обо мне.

— Приписной?

— Вот-те раз! Спасибо!

— Наемник?

— Аз есмь человече мирный.

— Временнообязанный?

— Упаси Бог.

— С вами ум сломаешь… паленый?

— Пока еще нет.

— А кто ж тогда?

— Я знахарь.

— Ой, какая прелесть! Вы привораживаете?

— И это тоже. Но, сдается мне, что вы меня сегодня приворожили, а не я вас. И ваши чары

посильнее моих.

— Вы надомный или приходящий?

— Скорее — приходящий.

— И давно уже?

— С детства. У меня и бабушка и мамаша знахарствовали.

— Они вам передали?

— Точно так. Передала бабуля.

— Скажите… ой, опять толкаются… да что ж это… смотрите, он лезет без очереди!

— А ну-ка ты, плешь водяная, куда прешь?

— Толканите его, толканите! Православные, не пускайте этих!

— Мы тутова стояли!

— Тебя тут не стояло, мурло!

— А ну, не замай!

— Я те дам — не замай! Пшёл отсюда!

— Господи! Еще прут! Их вообще тут не было!

— А ну, потеснися!

— Я те потеснюсь! Во, видал?!

— У меня стукалка-то поболе твоей! Во!

— А ну…

— Я те…

— Ах ты, гнида…

— Эй, эй, ну-ка кончайте!

— Мужчины, что вы смотрите?!

— Это деревня сраная прет! Не пускайте их!!
— Сладенького им захотелось! Рвани!
— Пош-ш-ш-шел!
— Я те дам! Я те…
— Пошел! Пошел!
— Ах ты, залупа… я те…
— Ща хребет переебу!
— Заебешься, сволочь земская!
— Срань оброчная… ну… ну… вот тебе!
— Я те… я те…
— На, гад!
— Ах ты, ебаный…
— Мужчины! Мужчины!!
— Православные, прекратите!
— Отступите, Христа ради!
— Продавец, не отпускай! Тут мордобой!
— Они по-матерному ругаются! Нажмите околоточного!
— Не пускайте их!
— Я те… сволочь…
— А ну…
— А так, а? А так?! А так?
— Пихайте их из очереди! Пихайте к свиньям!!
— А… вот! Ну? Во… ну? Еще? Иди, иди сюда!
— Я те… я те…
— Куда… гадина… ку-да… ку-да! Ку-да!

— Помогите!!!

— Не отпускайте никому! Остановите продажу!

— Гады какие, а?!

— Вон околоточный идет!

— Арестуйте их!

— Бляди!

— Они по-матерному ругались!

— ПЕРМЯКИ, НЕ ШУМЕТЬ! НЕ ТОЛКАТЬСЯ! СТОЯТЬ, КАК ПОЛОЖЕНО!

— Отгоните их!

— Эти лезут!

— Они по-матерному ругались! Я записала! Околоточный, я все переписала!

— ПЕРМЯКИ, НЕ ШУМЕТЬ! БУЗОТЕРОВ ЗАБЕРЕМ В УЧАСТОК!

— Двигайтесь, сударыня, не разевайте рот!

— Я же за вами, чего вы?

— Нет, я там стоял… эй, а ну, пусти-ка…

— Встаньте в очередь, православные!

— А где?… а вот…

— Околоточный, можно донести? Они по-матерному ругались!

— ПЕРМЯКИ, СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК!

— Вера Константиновна!

— Ой, меня от вас оттерли!

— Идите сюда! Пропусти, борода!
— Ой, ужас!
— Шуба цела?
— Цела родимая!
— А вы сами?
— И я цела!
— Слава Богу. Идите, идите вперед! А вы отойдите! Вы — за нами!
— Так, мне все, что можно.
— Остались токмо стены.
— А башни?
— Башенный бой распродан.
— Как так?
— Токмо стены, женщина. Берете?
— Зачем же я стояла… а почему не сказали?!
— Вы берете стены или нет? Ежели нет — проходите, не задерживайте других.
— Свинство какое!
— Вера Константиновна, берите стены, берите!
— Да, но…
— Сударыня, берите, или ступайте с Богом отсель!
— Не задерживайте, православные!
— Ну, давайте стены…
— Токмо две упаковки в руки.
— Боже мой! Это грабеж!

— Дайте ей хотя бы три!

— Не имею права. С вас четыре рубля серебром или полтинник золотом.

— Какое безобразие! Ради чего я стояла?!

— И мне давайте. У меня червонец.

— Так… возьмите сдачу.

— Я ВОТ ТЕБЕ ПРОЛЕЗУ! Я ВОТ ТЕБЕ ПРОЛЕЗУ! А НУ — ВСЕМ ОТОЙТИ ОТ ОЧЕРЕДИ!

— Они по-матерному ругались!

— Пойдемте отсюда.

— Тут не выберешься…

— Позвольте.

— Благодарю вас… Господи, какое хамство!

— ОТОЙТИ ОТ ОЧЕРЕДИ! БАБУШКА, ДАВАЙТЕ ВАШ ДОНОС!

— Принимай, сынок!

— Пойдемте здесь…

— Хамство, хамство!

— Не расстраивайтесь.

— Нет, ну они рекли в пузыре позавчера: кремлевский бой, башни и стены, можно выбрать, разная цена! А тут — токмо одни стены, на тебе! И по два целковых!

— Башни разобрали по своим, ясное дело.

— Хамьё какое! Давайте донесем на них?

— Токмо время терять.

— У меня трое детей! Что же — рвать упаковку?!

— Разорвите, да разделите.

— Но она красивая! И кусочки-то правильной формы! Два куска всего! Дробить?!

— Раздробите. Или, нет. Вот что: милейшая Вера Константиновна, примите от меня эту упаковочку в знак нашего с вами знакомства.

— Ну, что вы! Это невозможно.

— Без слов! У меня одна дочка. Хватит и одной упаковки.

— Нет, ну, право…

— Всё. Она ваша.

— Тогда я вам два целковых отдам.

— Ни в коем случае!

— Но я не могу так просто взять, Трофим Ильич!

— Я уже забыл про это.

— А я — нет! Я ваша должница.

— Хорошо. Коли должница, обещайте, что я смогу пригласить вас на чашечку чая.

— Прямо сейчас я не могу, мне на службу надобно.

— А вечером?

— Вечером… так. После восьми тогда.

— Замечательно! Вы где проживаете?

— Вон там, возле рыбного рынка.
— Так рядом! Вы — центровая пермячка.
— Да!
— Так. Заехать за вами?
— Упаси вас Бог! У меня ревнивый муж.
— Тогда предлагаю встретиться в «Куличе».
— Приятное местечко.
— В котором часу вам удобней?
— Ну… в четверть девятого.
— Прекрасно!
— Не забудете?
— Что вы, я же вам должна!
— Долг платежом красен!
— Святая правда! Ой… уже два часа! Все, я бегу! До вечера, Трофим Ильич!
— До вечера, Вера Константиновна!

Письмо

Здравствуй, любезная, милая сердцу и бесконечно дорогая сестра моя Софья Борисовна!

Пишет тебе единоутробная сестра твоя Прасковья Борисовна.

Шесть лет минуло, как покинула ты нас, дорогая моя, как выпорхнула пташкою из гнезда родового, шесть лет уж как маменька и Ванюша-братец и я, горемычная, живем без лучезарной улыбки твоей, без голоска твоего, колокольчику валдайскому подобного, без доброго, отзывчивого, правдолюбивого и вечнорадостного сердца твоего, без душеньки твоей нежной, чистой и богобоязненной, без сестринской и дочерней заботы твоей и молитвы. Молимся без тебя шестой годик по утрам и вечерам, ходим в церковь нашу без тебя, причащаемся без тебя, исповедуемся батюшке Юрию без тебя, говеем и разговляемся без тебя, празднуем светлые праздники без тебя, дорогая Сонечка, но и за тебя молимся всем семейством, горячо молимся за тебя, за дорогую Сонечку-птичку, за горлицу нашу сизокрылую, в дальних краях обретающуюся, а я самолично

молюсь за тебя каждый раз ночью, когда ко сну отхожу, когда лежу-прилежу в постельке своей, лежу да и думаю про Сонечку мою родную, да и читаю три молитвы: «Богородице, Дево, радуйся», «Живый в помощи Вышняго» и «О путешествующих». Ибо мы с маменькой и папенькой верим, что вам с Цзо надоест в Хабаровске далеком, да и вернетесь вы сюда, в родное Изварино.

Дорогая сестрица моя! Не думала, не гадала я, что жить без тебя, сестрицы моей, будет так трудно и непросто, что жизнь моя будет теперь совсем другой, самостоятельной и сосредоточенной. Да и не то чтобы сильно самостоятельной, а вот будто взяли меня, девушку Прасковью, да и кинули в омут под названием Жизнь, а девочка Прасковья из Подмосковья плавать-то в этом омуте привыкла токмо с сестрицею своею дорогой, за руку ее держась, ей помогая и себе, а сама-то девушка Прасковья плавать хоть и училась, да пока еще не пробовала, и вот, стало быть, поплыла, поплыла, поплыла, вроде щепочки березовой, вроде и не тонет покамест, но страх-то есть, Сонечка, страх-то он, как волк серый, завсегда из лесу позыркивает на тебя, позыркивает, позыркивает, да не отпускает, и плыть-то плывет Прасковья из Подмосковья по море-окияну по имени Жизнь, хоть

и плывет одна уже седьмой годок, да плыть-то ей покамест одной в окияне сем страховито, вот, сестрица родная, какое дело!

Всегда, Сонечка, мы были с тобою вместе — и когда в утробе матушки нашей лежали-полеживали, и когда опосля благополучного на свет Божий появления лежали в люлечке бок о бок, и когда в купель окунал нас покойный отец Софрон, креща в веру Христову, и когда первое причастие принимали из рук его с ложечки серебряной, и когда росли-подрастали в доме у матушки с батюшкой, и когда резвились во саду нашем, во огороде на травушке-муравушке под яблонями цветущими да под вишенками, да возле крыжовника любимого, из которого матушка варит такое вареньице вкусное, и когда в школу пошли, и когда вместе за партами сидели, когда арифметику учили, когда *умную* машину осваивали, когда бегали взапуски, когда в двенадцать палочек играли, когда собирали цветы, бабочек и листья, когда вышивали на подушечках птиц небесных, когда радовали батюшку с матушкой своими успехами школьными. Вместе мы с тобою, Сонюшка, были и после школы, когда ее окончили, когда сделались девушками на выданье, когда шили приданое, когда ходили на танцы, когда

вместе женишков ждали-поджидали. А потом подстрелил тебя, первую, лебедь белую, в сердце добрый молодец Цзо Гэ, подхватил под белы рученьки да и увез к себе за тридевять земель, в далекий Хабаровск. И осталась сестрица твоя Прасковья из Подмосковья одна-одинешенька. Вот оно как!

Ты у нас самая красивая, хоть мы и близняшки. Тебя первой и подстрелили в сердце стрелою любовной. И слава Богу, Сонюшка! Я за тебя так рада, что сердушко мое сестринское раскрывается и цветет алым цветом Любови Сестринской.

Сонь, ты не сердись, что я так расписываю все чувствительно. Это я понарошку, по-книжному. Я же не на бумаге пишу! Мне моя *умная* помогает. Ты же знаешь, я люблю по-чужому писать. Так красивее и сердечнее получается. А то сама-то токмо могу — здрасьте да до свиданица. И делаю я это все, Сонь, для того, чтоб тебе там почаще икалося на мой счет, а то ты там купаешься, как сыр в масле, нежишься с красивым Цзо на простынке китайской, милуешься, кушаешь сладкую свининку в ананасах, пьешь сливовое винцо наше любимое, да про все и вся забыла-позабыла. А Прасковья ревмя ревет в нашу старую подушку с птицами-синицами, ревет белугой белою.

Шучу!

Не реву я.

Все у нас благополучно, сестренка, все по-купечески: отчим торгует, матушка дом содержит, Ванька в церковноприходскую школу свою бегает, Трезорка тявкает, а я баклуши бью. Хожу к Пономаревым, к Абрамовым, к Раиске Мильман да к дураку Озерову. Ничего пока со мною яркого не приключилось, ничего сотрясательного не произошло. Вера и Надя Пономаревы все кадрятся с китайскими военными, Маша Абрамова собирается поступать в Женскую Высшую школу, Раиса часто болеет, что-то у нее с поджелудочною железою, а доктора точно сказать не могут. Озеров совсем спятил — ходит везде с *умной* машиной, делает «подарки», дурачится так, что оторопь берет: приперся в нашу солнцевскую школу на годовщину выпуска, съел что-то для храбрости, пригласил десятиклассницу, стал с нею танцевать, а *умная* у него, как всегда, под рубашкою на груди приклеена, и танцует он, значит, танцует, а потом стал пузыри пускать разноцветные с начинкою — обезьяны, лешие, барабошки. Десятиклассница в крик. Вывели его под руки, в общем, как дебошира и охальника. И ведь не юн уже — тридцать два года остолопу, а

в голове по-прежнему ветры гуляют. Представь, на Сретенье они с Рудаковым и Ашкиянцем в пивной у станции набрались, подбили каких-то мастеровых ехать бить солнцевских вьетнамцев. Так те их так нунчаками встретили, что Ашкиянцу проломили голову в двух местах, а Рудакову порвали ухо.

Вот такое у нас, Сонечка, житье-бытье. И битье!

Из домостроительных новостей токмо одна: пристроили, наконец, вторую террасу. Получилась широкой, просторной, хоть танцуй. Теперь будем летом на маленькой терраске завтракать, а уж с гостями обедать сподобимся на большой. Мамаша обсадила ее сиренью, жасмином, а под столбы приткнула дикого виноградца. Красиво будет! Когда вы с Цзо приедете, будете на новой террасе в сирени целоваться!

А вообще, между нами, девочками, говоря, жопа ты мокрая. Письмо отписать сестренке родимой для тебя прямо я не знаю что, прямо дело великое! Чаще одного раза в месяц и не соберешься, не сподобишься соизволить. Да и пишешь когда, словно повинность отбываешь: здравствуй, Прасковья, до свиданья, Прасковья, — и привет! Что с тобой такое стряслось — ума не приложу.

Первые три года хоть писала подробно, сбрасывала обстоятельно. А теперь — здравствуй, да прощай. Странно это, сестренка. Не по-родственному. Бывалоча, раньше все друг дружке мы с тобою выкладывали, все пересказывали, ничего не утаивали, — и что на сердце, и что в голове, и на душе чего, и не было тайн-секретов никаких, ничего не скрывали, да и скрывать-то нечего было, а ежели и было, то и не скрывали, а как же, все по-сестрински, по-родному, от других скрывали, а промеж себя все выкладывали. А теперь ты вон как себя поставила — здравствуй, да прощай, сестричка родная Прасковья. Нешто так любовь тебя забрала, что родственные чувства поотшибало тебе напрочь? Или просто суета семейная одолела так, что руки до клавы не дотягиваются? Ежели второе, тогда ты жопа мокрая втройне. А вот ежели первое… Нет, Сонь, ты пойми, я в твою сладкую жизнь с ананасами лезть не собираюсь, я девица неглупая, понимаю — дело семейное, обособленное, ибо писано раз и навсегда для всех новобрачных: «и да прилепится жена к мужу». Закон он и есть закон. «Жизнь семейная — тайна двоих», — как отец Юрий всегда на свадьбах говорит, когда пьет за молодоженов. Есть у вас тайны свои, конечно, а у кого их нет? Есть — и слава

Богу. Вон Машке Абрамовой сестра поведала, что муж ее принуждал к содомскому греху, бывает и такое. Я же тебя не расспрашиваю про ваши тайны, и не надобно мне знать про них ничего, у каждой семьи свои они. А может, и нет у вас тайн никаких, и тоже — слава Богу. Не об том речь, Соня. Я же не тайн от тебя жду, не подробностей жизни новобрачной, а простого разговора сердечного, сестринского, хорошего, теплого, чтобы все было по сердцу и по душе, ну, как раньше. Чтобы сестра моя, в Хабаровск косоглазый удаленная, близко хоть сердцем была. Мне больше и не надобно ничего! Чего мне еще хотеть, — ты замуж вышла, выпорхнула, сестра моя родная, вышла и по любви, и по намерениям, и по обстоятельствам совпавшим, и совсем все хорошо сложилось, и слава Богу, и совет вам да любовь, и я рада за вас и молюсь за вас крепко-накрепко, чтоб вы навеки срослись воедино и не расстались, чтобы детки у вас, наконец, пошли, думаю о вас всегда хорошо, мысленные приветы посылаю, люблю вас на расстоянии. Но как же так ты сестру совсем позабыла? Плохо это, Сонечка. И не по-христиански.

Ну, да Бог тебе судия. Думаю, пройдет у тебя угар любовный, натешишься, намилуешься, да и напишешь сестренке все напрямик, от серд-

ца к сердцу. За шесть лет-то ведь можно уж и поостыть, и успокоиться, а? Поостынь скорей, Сонечка, авось и про меня вспомнишь. Или вспомнишь что-то веселое, как мы с тобою весело поживали, горя не знали. Ведь есть чего вспомнить, Сонюшка, правда? Помнишь, как смешинка в рот малиновая попала, и чуть не утонули в Пахре на Спас Яблочный тогда? Как ты потом то плакала, то хохотала, да травой в меня швыряlась? А я хохотала так, что в трусики пустила! А как провели мы с ветролетом Сашку Мамулова, как он пошел вечером к Борису Никитичу с доносом, а тот его выгнал? А помнишь Вовченко: «Девочки, у вас в каждом ухе по мухе»? А торт с солью? Помнишь Марфа как бесилась? У нее даже нос вспотел! Помнишь, как у исторички-гадины на горохе стояли? «Иван Калита — это вам не кекоу-келэ!»[13] Помнишь доброго нашего Петра Христофоровича по Закону Божьему? Он так и учит до сих пор, никуда не делся, безсупругий и бессемейный бобыль. А кукол наших помнишь? Катеринка еще жива, еще станцевать «барыню» может, разговаривает. А Мальвинка дала дуба, — что-то с мозговою глиной. Токмо глаза открывает

---

[13] Примечания: Кекоу-келэ
Кока-кола *(кит.)*.

и улыбается. А раньше-то, помнишь, как она, после чая: «Се-се, хао ч-ш-ш-ш-и-и»![14] В общем, Сонечка, лежат теперь они обе в комоде бабушкином, Мальвинка с Катеринкой, спят-приспят в нафталинчике и видят про нас с тобой сны многоцветные.

Ой, Сонь, сейчас письмо это пиша, вот что вспомнила вдруг: как мы с тобою на новый Кремль смотреть ездили! И знаешь, почему я вспомнила? Вот почему! Я по Клаве Петровне-то стучу, а сама досасываю кремлевскую стену сахарную! На Рождество Ванька наш с Сережей Воронцовым и Никитой Бачей ездили в Москву на Красную площадь. И привезли по сахарному Кремлю. Башенки мамаша решила сохранить до Пасхи, чтобы пасху ими украсить, а стены разломала и в сахарницу положила. И теперь заместо сахара мы в чай кремлевские стены кладем! И вот вспомнилось вдруг. Забыла я про то совсем как-то, а теперь вот прямо вспомнилось! Ярко как-то вспомнилось, как прямо в кино! Ты виновата, а кто ж еще! Заставила! А сама-то ты помнишь? Помнишь? Нам по двенадцать тогда исполнилось, покойный папаша утром новость

---

[14] Примечания: Се-се, хао чши!
Спасибо, вкусно *(кит.)*.

сообщил: Кремль в белый цвет ночью покрасили по приказу государеву. Это было в субботу, помнится. А в воскресенье мы и поехали в Москву. И помнишь, как в метро ты увидала мороженое на полу раздавленное и сказала: «Москвичи бросили». А я тогда и не поняла, причем тут москвичи? А потом мы в толпу попали и шли, шли в метро гусиными шажками, и даже страховито сделалось — а вдруг не выйдем? Никогда такой толпы не видала. И я папаню покойного спросила: «В метро всегда так людно?» А он ответил, что это потому, что не токмо мы одни хотим на новый Кремль поглядеть. И вышли мы наконец из метро «Третьяковская», а там толпища еще больше, все прут и прут, папаша нас за руки держит, мы к нему прижимаемся. Выбрались на набережную. И тут мы с тобой белый Кремль и увидали, помнишь? Он на противуположном берегу Москва-реки стоял. Белый пребелый! Народ вокруг кричит, охает, папаша крестится, кланяется Кремлю. И вдруг солнце из-за тучи повыкатило, как лучами на Кремль белокаменный брызнуло, он как засиял, аж в глазах больно! Это я помню очень хорошо. И тебе тоже больно смотреть на Кремль стало, ты говоришь: «Сонь, надо было б темные очки взять». А папаша смеялся над

тобой и говорил: «Доченька, на красоту в темных очках не смотрят». А потом как-то я всмотрелась, всмотрелась в этот Кремль, и так у меня все в голове засияло, словно свет нетварный, про который наш батюшка говорить любит. Все прямо сияет и поет в голове, а смотреть на Кремль все больше и больше хочется. И глазкам не больно совсем. И я смотрю, смотрю, смотрю, а он весь белый-пребелый, и прямо сосет глаза белизна сия, на солнце сияет, а в голове прямо ангелы поют, так сладко стало, так хорошо, небо-то синее, облака расступились, солнце лупит, Кремль сияет, глаза сосет, я про все забыла, и гляжу, гляжу, гляжу, и прямо так сладко смотреть на Кремль белокаменный, что и пошевелиться не могу, не хочу пошевелиться, рукой за отца держусь, а сама хочу всем сердцем, чтобы и отец не шевелился и не говорил ничего, и чтоб ты меня не теребила, и чтобы люди все стояли как столбы, чтобы токмо смотреть и смотреть и смотреть и смотреть и смотреть, и чтобы все так остановилось, а я бы все стояла и смотрела, только бы глаза не закрылись, не устали, а глаза-то у меня и не слезились вовсе, и не устали, а просто расширились и смотрели, смотрели, смотрели как будто и делать больше ничего не надобно, а надобно токмо смотреть,

смотреть, смотреть и стоять, смотреть на Кремль и стоять смирно, стоять хорошо и правильно, дабы не спугнуть ничего и не потревожить. А токмо смотреть на белый Кремль наш, смотреть во все глаза, чтобы он стоял спокойно и никуда не девался, не исчезал, а просто стоял на своем главном месте навсегда на веки вечныя, на месте главного и большого дела, хорошего дела, на которое все пошли, все сподобились, все собрались, чтобы сделать все правильно, хорошо, чтобы быть всем вместе, всем миром все решить и исправить навсегда, на веки вечныя, лишь бы никто не помешал, лишь бы Кремль белый стоял на своем главном месте и можно было смотреть правильно на него, смотреть во все глаза да так, чтобы душа трепетала, чтобы сияла душа, золотом света сияла, света великого, кремлевского, света от которого всем хорошо, всем будет хорошо и так хорошо, что ничего больше и не надобно, не надобно ничего другого, а просто смотри и радуйся, веселись душой своей, пей глазами Кремль белый, ешь глазами Кремль белый, и больше ничего не надобно, а все люди правильные будут тоже стоять рядом с тобой правильно стоять, честно стоять и радоваться, стоять с глазами открытыми, хорошими глазами

а в тех глазах у всех будет свой Кремль тысячи миллионы Кремлей белых в глазах правильных людей которые умеют правильно славить и все делать правильно и хорошо и умеют прилежно смотреть на белый Кремль наш родной и святой а другого не надобно токмо бы стоял он на месте своем и ничего бы не мешало а смотреть надобно тихо и спокойно дабы не спугнуть и не разрушить не напрягая глаз а просто чтобы глаза спокойные смотрели смотрели смотрели и все спокойно будет и хорошо и всем будет хорошо и все люди будут счастливы во веки веков ежели токмо научатся правильно смотреть на Кремль белый и ничего другого не надобно не хорошо другое вовсе а токмо смотреть и смотреть смотреть и смотреть и чтобы глаза не закрылись ни у кого у всех очи должны быть открыты и хорошо правильно открыты а так что в них все было бы хорошо и Кремль белый стоял бы в очах у всех и у каждого честного человека чтобы душенька зашлась от радости и чтобы восторг и правильное зрение а люди чтобы стояли смирно спокойно и не двигались вовсе чтобы все было очень хорошо а солнце токмо не заходило и сияло и Кремль сиял и просиял в каждом глазу и в каждом глазыньке по белому Кремлю чтобы сияло и сияло да так

сияло чтобы люди стали все понимать и принимать так принимать и так знать чтобы не было вопросов у людей и все люди поняли бы что счастье пришло и никогда не уйдет токмо надобно смотреть и смотреть на Кремль и ничего не будет плохого ничего не будет тайного а все будет хорошее и явное все просияет светом белым и будет всем там хорошо а мы стоять толпой несмелой и будем делать хорошо а Кремль великий нам сияет и мы все счастливы совсем когда все хорошо бывает и белый Кремль и белый день когда пришли родные люди смотреть на белый вечный Кремль тогда все хорошо так будет что все мы будем видеть Кремль и будут все глаза раскрыты и люди будут видеть все когда обстанут деловито и будет всем нам хорошо а если все глаза раскроют и сразу будут видеть Кремль тогда себя все успокоят и сразу все полюбят Кремль но только бы все рядом встали и увидали сразу Кремль и тут же мертвые восстали чтобы увидеть белый Кремль а мы пойдем на площадь Красну чтобы увидеть белый Кремль и все увидим что прекрасный что очень добрый белый Кремль а нам сиять всем будет вечно наш превосходный белый Кремль а мы все будем жить беспечно но токмо видеть белый Кремль и будут все смотреть прилежно

на очень белый белый Кремль а после плакать безмятежно и целовать наш белый Кремль и все обрадуются сердцем когда увидят белый Кремль а он стоять ведь будет вечно наш златоглавый белый Кремль и мы вокруг него сомкнемся чтобы сберечь наш белый Кремль и все мы с ним навек спасемся и будет с нами белый Кремль когда все люди соберутся и все пойдут смотреть на Кремль они от всяких бед спасутся когда увидят белый Кремль и всем нам будет так спокойно когда увидим белый Кремль и встанем мы рядами стройно чтобы увидеть белый Кремль а все вокруг сомкнутся разом чтобы увидеть белый Кремль и мы коснемся каждым глазом наш дорогой и белый Кремль а он сиять нам будет сильно наш дорогой и белый Кремль и будем мы смотреть обильно на наш великий белый Кремль и что бы с нами ни случилось мы будем видеть белый Кремль и чтобы сердце сладко билось смотреть нам всем на белый Кремль а все стоять не дрогнув будут чтобы смотреть на белый Кремль и никогда не позабудут наш златоверхий белый Кремль.

Виновата я виновата я виновата я виновата я виновата я виновата я виновата я виновата я виновата я виновата я виновата я виновата я виновата я виновата я виновата я виновата я виновата я

виновата я виновата я виновата я

я больше никогда не буду я больше никогда не буду я больше никогда не буду я больше никогда не буду я больше никогда не буду.

На заводе

Мастер цеха упаковки Афанасий Носов услышал сигнал перерыва на обед в курительной комнате.

— Так… — пробормотал он, быстро затянулся только что раскуренной сигаретой «Родина» и сунул ее в большую металлическую чашу на высоком треножнике, полную песка и окурков.

В курилке стояли еще трое заводских: наладчик Петров, выпускающий Добренко и мастер литейного цеха Косоротов.

— Чего, оголодал, Егорыч? — усмехнулся Косоротов.

— Голод — не тетка… — Носов густо сплюнул в песок.

— Да и не дядька! — ощерился косоглазый, большеухий Петров.

Носов вышел из курилки.

Пройдя по светлому коридору, завернул за угол, спустился по лестнице, шагнул на ребристую ленту подвижного пола.

— Быстро! — скомандовал он, и пол поехал максимально быстро.

По стенам лепились живые плакаты с улыбающимися рабочими и работницами, делающими свое дело.

Пол довез Носова до цеха. Он сошел с ленты, осматриваясь. В громадном светлом пространстве цеха, среди громоздящихся и собранных в кубы золотистых упаковок маячили шесть работниц в голубом.

— Шесть, тринадцать, восемь, полста. Остановить подачу! — громко скомандовал Носов, и все шесть упаковочных конвейеров остановились.

Носов двинулся по широкому проходу.

Запищали, отключаясь, упаковочные лапы; девушки оттянули у них затворы и повесили лапы на зеленые станины.

— Афанасий Егорыч, ленточки опять на исходе! — крикнула Титова.

— Решим! — Носов шел по проходу, осматриваясь.

— Егорыч, у меня шнырь[15] встал! — со смехом выкрикнула пожилая Максакова. — Подкормить бы его!

Носов на ходу связался с наладчиком шнырей:

— Вить, ты после обеда зайди к нам. Тут встал.

---

[15] Примечания: Шнырь
Робот уборщик.

— Подымем, — ответил, жуя, наладчик.

Работницы цеха вышли в проход. Носов подошел к ним:

— Сегодня зело не торопитесь: первый цех стоит.

— Чего стряслося? — сняла белые перчатки Долгих.

— Видать *умную* сызнова коротит.

— Вот недолга! — удивилась простодушная Мизина.

— Трапезничайте неспешно, — нервно зевнул Носов.

— Благодетель! — улыбнулась Максакова, обнажая новые зубы, и тут же махнула работницам. — Пошли, красавицы!

Женщины направились к выходу.

— Погосова, у тебя подворачивалось часто? — спросил Носов.

— Бывало, — остановилась Погосова.

— Задержись, — Носов недовольно пошарил глазами по цеху, поднял их вверх.

Под плавно изгибающимся потолком из белого пластика висела, поворачиваясь, огромная голограмма сахарного Кремля.

Погосова подошла, стягивая перчатки.

— Как оно? — спросил Носов.

— Да ничего, — улыбнулась высокая, широкоплечая и широкоскулая Погосова.

— Ничего — есмь место пустое. Я спрашиваю: как работается?

— Хорошо.

— Это другое дело. И часто подворачивается?

— Бывает, — с улыбкой смотрела на него Погосова.

— Ты, Погосова, токмо мне подворачивания не копи! — строго заговорил Носов. — Как подворот — сразу меня подзывай.

— Знамо дело, — улыбалась Погосова.

— Меня нет — наладчиков тереби.

— А то как же.

— Наладчики они на то и существуют, чтобы их тревожить. Ясно?

— Знамо дело.

— Не молчи. Мы ведь тут не лапшу пакуем, — он кивнул на вращающуюся голограмму. — Государев заказ. Вся страна на нас глядит.

— Знамо дело, — улыбалась Погосова.

— Ступай за мной, — он повернулся и быстро зашагал по проходу.

Погосова двинулась за ним, легко догнала его. Она была на голову выше Носова.

Они вышли из цеха, встали на ленту.

— Быстро! — сердито скомандовал ленте Носов.

Лента понесла их быстро.

— Почему у Титухи всегда ленточки на исходе? — озадаченно развел он руками. — Чего она их — ест, что ли?!

— Не знаю, — Погосова поправила светлые волосы, выбившиеся из-под голубой косынки.

— Почему и у тебя, и у Мизиной, и у бабуси всегда имеется запас? А у нее — всегда их нет!

— Видать, припасает мало.

— Ну, как так — мало?! Я ж всем даю одинаково!

— Не знаю.

— И я не знаю! А кто знает?

Погосова пожала широким плечом.

— Воровать она может?

— Не знаю. На что они ей сдалися?

— Черт ее знает!

— Да и как она их вынесет?

— Никак. Все атомом помечено. Куда же она их девает?

— Не знаю.

— Мутота с этой Титухой! — Носов в сердцах махнул рукой, сошел с ленты.

Погосова тоже сошла.

Носов подошел к большой двери с надписью «БОЙ», приложил к ней ключ. Дверь отъехала в сторону. В помещении вспыхнул свет. Носов и Погосова вошли. Дверь за ними закрылась. Длинное помещение без окон было сплошь уставлено поддонами с битыми сахарными кремлями. Поддоны высились от пола до потолка. Между ними оставался узкий проход. Носов двинулся по проходу. Погосова последовала за ним, едва не задевая своими широкими плечами громоздящиеся в поддонах сахарные куски. Носов свернул, зашел за колонну из поддонов. Погосова свернула следом. Они оказались в тупике. Вокруг громоздились емкости с сахарным кремлевским боем. В углу лежал рулон прозрачной пленки.

— Вот… — Носов встал на рулон, повернул Погосову спиной к себе.

Погосова подняла голубую юбку и белую исподницу, придерживая их одной рукой, наклонилась, оперлась о поддон, положила щеку на бой. У Погосовой были красивые, гладкие и белые ягодицы. Носов расстегнул свои черные брюки, спустил черные длинные трусы. Его смуглый член торчал. Носов прыснул на него предохранительным спреем «Застава» и быстро вошел в Погосову.

— Ой, — произнесла она и глубоко вздохнула.

— Вот… — пробормотал Носов и, обхватив Погосову руками, стал быстро двигаться.

Погосова стояла молча.

— Вот, вот, вот… — выдыхал в такт движению Носов.

Черная фуражка на его голове подрагивала, съезжая на затылок.

Погосова дотянулась языком до обломанной Боровицкой башни.

— Вот, вот, вот… — бормотал полушепотом Носов, двигаясь чаще.

Погосова лизнула башню.

— И вот, и вот, и вот, и вот… — шипел Носов.

Погосова лизала башню. Большие зеленые глаза ее бесцельно шарили по сахарному бою.

— И вот, и вот, и во-о-о-о-от! — захрипел Носов и задергался, вцепившись руками в Погосову.

— Э-м-м… — поморщилась Погосова, не переставая лизать.

Носов тяжело задышал и склонил голову на спину Погосовой.

Прошла минута.

Погосова продолжала неспешно полизывать башню.

— Вот… — Носов со вздохом поднял голову, вышел из Погосовой, подхватил трусы со штанами,

шагнул с рулона.

Погосова выпрямилась, разведя ноги. Сперма Носова стала выливаться из нее, закапала на пол. Погосова подождала, потом вытерла рукой промежность и обтерла руку о сахарный бой.

— Вот… ну и вот… — сокрушенно качал головой раскрасневшийся Носов, тяжело дыша и застегивая брюки.

Погосова повернулась к нему. Посмотрела на него со своей неизменной улыбкой.

Носов застегнул ремень, поправил сбившуюся на затылок фуражку. Глубоко вздохнул, огладил усы. Полез в карман, достал серебряный рубль. Протянул Погосовой. Она взяла, сунула в кармашек голубого жакета.

— Пошли… — Носов кашлянул и пошел по проходу.

Погосова двинулась следом.

Они вышли из помещения. Носов запер дверь. Прошли по коридору до ленты, ведущей в столовую. На ленте стояли редкие рабочие. Носов и Погосова встали на ленту. Улыбаясь, Погосова смотрела на проплывающие мимо стены с плакатами:

— Я спросить хотела.

— Чего? — прищурился на нее Носов.

— А почему бой не чинят, а сразу списывают?

— Как ты его починишь? Он же цельнолитой.

— Ну, вот, токмо зубчик один на стене обломился, а весь Кремль сразу списывают.

— Да, правильно.

— Что, зубец подклеить трудно?

Носов устало усмехнулся:

— Чем же ты его подклеишь, садовая голова?

— А тем же сахаром.

— Невозможно. Сей сахар токмо при определенной температуре льется, а потом враз застывает. Его уже обратно не растопишь.

— Да?

— Да.

Погосова вздохнула:

— Жалко работы. Из-за зубчика единого весь Кремль терять.

— Кремль он целокупен быть должен.

— Целокупен?

— Целокупен.

— Почему?

— Как почему? Государево дело, садовая голова! Чтобы ни единой трещинки, ни единой щербины. Ни единого порока. Ясно?

— Ясно, — Погосова посмотрела на него.

— Вроде не маленькая, а такие вопросы зада-

ешь. Тебе сколько лет?

— Восемнадцать.

— Восемнадцать! Я в восемнадцать уже в дальнобойных войсках служил, понимал, что к чему. Ты же у нас никак третий месяц, да?

— Четвертый.

— Во, четвертый. Все уже ясно тебе быть должно, аки дважды два.

— Да мне все ясно. Токмо бой сахарный жалко.

Устало усмехнувшись, Носов покачал головой:

— Опять ты за свое! Це-ло-купность! Ясно?

— Ясно, — улыбнулась она.

Он отвел глаза, махнул рукой:

— Мутота говорить с тобой. Ступай-ка ты, Погосова, поешь.

Погосова кивнула.

Носов вздохнул, сошел с ленты и быстрым шагом направился в курилку первого цеха.

Погосова поехала дальше, глядя вперед своими большими зелеными глазами.

Кино

— Мотор. Камера, — тихо, но внятно произнес постановщик.

Динамики усилили его голос, он разнесся по залитой заходящим солнцем березовой роще.

— Есть камера! — ответил оператор.

— Начали! — громче произнес постановщик.

Девушка в легком летнем платье, с двумя длинными косами щелкнула хлопушкой:

— Сцена 38, дубль 3.

— Иван! — скомандовал постановщик.

Молодой человек привлекательной наружности в бежевом нанковом костюме, белой косоворотке с расшитым воротом и в хромовых сапогах подошел к березе, опустился на колени, обнял, прижался лицом к стволу.

— Прости, Россия, прости, матушка… — пробормотал он срывающимся голосом.

Постановщик поднял вверх указательный палец.

В рощи закуковала кукушка.

— Раз, два, три, четыре… — стал считать молодой человек.

Постановщик согнул палец. Кукушка смолкла.

Молодой человек сел, привалившись спиной к березе, тяжело вздохнул, пошарил по груди рукой, резко расстегнул косоворотку:

— Господи… Ужель еще четыре года будет носить меня земля родная? Будет носить, будет кормить, будет любить меня.

Он замер с остановившимся взглядом. Сглотнул.

— И не загорится у меня под ногами?!

Он закрыл лицо руками, с перстнем на каждой, покачал головой. Бессильно опустил руки. Вздохнул:

— Нет. Не загоришься ты, земля русская. Ибо любишь всех нас, русских, без разбору. И тех, которые берегут тебя, и тех, которые предают.

Постановщик поднял руку, сжал в кулак, растопырил пальцы.

Из-за единственной в березовой роще старой, засохшей и дуплистой осины вышел седовласый, худощавый мужчина в темных очках, с узкими усиками, в пиджаке цвета какао, в майке с надписью «Colorado-2028», с тростью, в белых узких брюках и больших лохматых кроссовках «хамелеон» из живородящего пластика.

— Почто кручинишься, Иванушка? — произнес

мужчина с легким американским акцентом.

Молодой человек вздрогнул, отшатнулся, закрываясь рукой:

— Чур… чур…

— Не надобно бояться. Это есмь аз, — мужчина подошел ближе, коснулся тростью плеча молодого человека.

— Напугал, черт… — молодой человек пошарил рукой по груди, тяжело вздохнул.

— Аз не есмь черт, — проговорил мужчина.

— Ты хуже, — покосился на него молодой человек.

Мужчина достал портсигар, открыл, протянул сидящему:

— Would you like a cigarette, my dear?

— Чертовым зельем больше не балуюсь, — пробормотал молодой человек.

— С каких это пор?

Молодой человек смерил американца колючим взглядом:

— С нынешнего дня.

Американец снял темные очки. Их глаза встретились. Возникла долгая и напряженная пауза: противостояние взглядов.

Постановщик поднял два больших пальца, потряс кулаками и в восторге беззвучно повто-

ряя «да! да! да!», стал бить кулаком по коленке сидящую рядом сценаристку. Та, не отрываясь от монитора, схватила кулак постановщика и поцеловала. По замершей съемочной группе прошло одобрительное шевеление.

— Что с тобой, Иван? — произнес американец, убирая портсигар.

— А вот что, — молодой человек решительно встал.

Он оказался выше американца.

— Прекращаю наши встречи я, — сурово произнес Иван.

Американец прищурился:

— В чем есмь причина?

— Причина в том, что больше не желаю на вас работать.

В роще закуковала кукушка. Оператор за камерой дернул головой, зашипел, сплюнул. Сценаристка в ужасе закрыла лицо. Постановщик вскочил со стула, потряс кулаком, беззвучно крича губами:

— Ну, что ж за блядство?!

Съемочная группа зашевелилась. Кукушка перестала куковать.

Постановщик, злобно закусив губу, поправил очки, опустился на стул, тяжело вздохнул, по-

качал головой. Сценаристка качала головой, зажимая себе рот. Оператор прошипел по слогам:

— Вре-ди-тель!

Американец надел темные очки:

— Почто? Иль мы мало платим тебе?

— Деньги ваши больше не потребны мне. Видеть тебя, змею подколодную, не желаю боле. Зело много крови ты моей попил, подначил меня на дело преступное. Но душа моя покуда вам, супостатам, не продана! Не прежде, не ныне! Душа моя свободна! Убирайся прочь от меня, сатана! Вот, возьми подарки твои!

Молодой человек снял с пальцев и швырнул под ноги американцу оба перстня.

— И еще напоследок предостеречь хочу тебя и все ваше посольство: коли не отстанете от меня — донесу на вас в Тайный Приказ!

Возникла пауза. Постановщик снова восторженно поднял два пальца.

Американец присел на корточки, нашел в траве перстни.

— Стало быть, Ваня, о душе ты вспомнил?

— Стало быть так! — решительно повернулся молодой человек, порываясь уйти.

Но американец зацепил его тростью за плечо:

— А когда сие творил, не вспоминал о душе своей?

В руке американца возникла миниатюрная *умная* машинка. Американец оживил ее, и на поляне возникла голограмма: молодой человек в форме капитана российских военно-воздушных сил заходит в туалет, достает что-то из портфеля, быстро прячет это под унитаз, стоит некоторое время, затем спускает воду и, напевая «мне все равно — страдать, иль наслаждаться», выходит из туалета.

— Не думаю я, Ванюша, что зело обрадуются сему в вашем Приказе Тайном.

Иван с ненавистью взглянул на американца:

— А я сперва на себя донесу!

Американец замер. Голограмма исчезла.

— Пойду сейчас же в Тайный Приказ и во всем покаюсь!

— Надеешься, что простят?

— Простят, не простят — не мне судить. Но сеть вашу злокозненную разорву! Хоть сим родине своей помогу! Авось и не прогневается на меня зело…

Иван зашагал прочь.

— А за это — тоже не прогневается?

На поляне возникла другая голограмма: комна-

та в гостинице, звучит визгливый американский джаз, голый и совершенно пьяный Иван стоит, облокотившись на стол, уставленной иностранной едой и выпивкой, держит в руках банку с надписью «Nutella», пальцем зачерпывает из банки шоколадную массу и ест. В это время с ним сзади совершает анальный половой акт красивый мулат с сигарой в зубах. На плече у мулата стандартная татуировка американских десантников: череп на парашюте.

Увидев голограмму, Иван остановился, как вкопанный.

— My sweet russian boy! — похотливо засмеялся мулат и выпустил дым голографическому Ивану в затылок.

По голограмме пробежала искра. Сценаристка вздрогнула, но постановщик сжал ее запястье, поднял палец, прошептал:

— Так надо.

Иван безумными глазами смотрел на голограмму.

— И про сие донесешь? — американец вплотную подошел к Ивану.

Иван стоял, оцепенев.

Американец толкнул его. Иван бессильно упал в траву. Американец выключил голограмму,

присел на корточках, погладил Ивана:

— Не дури, Ваня. Тебе назад пути нет.

Достал портсигар, вынул из него сигарету, вставил в губы Ивана, зажег:

— Одной веревочкой с тобою повязаны. И разорвать веревку сию токмо смерть может. Но ты же не хочешь умирать?

Иван сел, вперился глазами в землю. Американец закурил, подбросил на ладони перстни.

— Ты еще молод. Все впереди у тебя. А посему, подарками нашими не след швыряться. Чай, не стекляшки.

Он надел перстни на бессильные руки Ивана.

— Мы ведь тебе еще подарочек припасли.

Американец с улыбкой достал из кармана маленький золотой перстень с брильянтом, надел Ивану на мизинец.

— Теперь у тебя не токмо сапфир да лунный камень, но и брильянт на длани воссияет. А брильянт, дорогой Иванушка, он всем каменьям камень. Ибо подобен он не камню земному, но осколку ошария небесного, на землю упавшего. Вот, полюбуйся.

Американец поднес руку Ивана к его лицу. Иван жадно затянулся, вскочил, пошел. Камера бесшумно поехала за ним по монорельсу.

Американец обнял Ивана за талию, пошел рядом.

— И вот еще, — американец вынул из кармана кожаный кошель, подбросил на руке. — Сто золотых.

Иван резко остановился.

Постановщик встал, в сильном волнении поправил очки, поднял сжатый кулак.

— Сто золотых, Ваня! — американец взял руку Ивана, вложил в нее кошелек.

Иван жадно затянулся, бросил сигарету, спросил хрипло:

— Что вам нужно?

Американец внимательно смотрел на него сквозь темные очки:

— Нам нужна, Ваня, тайная цифирь, обеспечивающая доступ к внутренним переговорам ваших тяжелых самолетов, несущих в себе атомноразрывные снаряды и совершающих своеобычные облеты северных границ государства вашего.

Иван бессильно опустился на траву, покачал головой:

— Нет. Сего я делать не стану.

Американец тихо рассмеялся, положил руку на голову Ивана и произнес, зловеще глядя на закат:

— Ты сделаешь все, что я прикажу.

Возникла мучительная пауза.

— Снято!! — закричал постановщик и побежал к актерам.

— Снято! Снято! Снято! — подбежав, он обнял их.

Сценаристка, размашисто перекрестившись, заспешила к ним.

— Снято! Снято, матерь вашу… — постановщик целовал, тузил и тискал актеров. — Снято, дорогуши мои, снято, разбойники!

Подошла высокая, угловатая сценаристка в узком платье, с вечно детским лицом, обняла «Ивана», прижалась:

— Господи… у меня чуть сердце не выпрыгнуло…

— Удовлетворительно? — спросил, снимая очки, «американец».

Постановщик ударил его кулаком в плечо:

— Гений!

— А у меня, главное, в сапог заползло что-то! — «Иван», облегченно смеясь, сунул пальцы в сапог. — Шевелится, зараза, щекочет, а? Вот подвезло!

— Жопа ты! Жопа дорогая! — постановщик обнял «Ивана».

— Что, в самом деле, неплохо?

— В десятку, в десятку!

— И с закатом успели! — подошел приземистый, седобородый оператор.

— И с закатом! С закатом, матерь вашу! — постановщик отчаянно крутил коротко стриженной головой, то и дело поправляя очки. — Вон закат! Минутка еще — и нет его! И пиздец засранцам!

— Егор, не матерись, умоляю! — обняла его сценаристка.

— С закатом успели! Ты понимаешь, Дошка?! — встряхнул ее за угловатые плечи постановщик.

— Полторы минуты, — подсказала помощница.

— Во! Полторы минуты! И нет солнца!

— Дайте стул сапог снять! — выкрикнул «Иван».

— Стул на площадку! — закричала помощница постановщика.

— А кукушечка-то как поднасрала, а? — улыбался «американец», закуривая.

— А-а-а! — грозно вспомнил постановщик. — Озьку[16] сюда!

— Здесь я, Егор Михалыч, — подошел сутулый, скромно одетый молодой человек. — Простите

---

[16] Примечания: Озька

Озька, сокращенно ООЗ — обустройщик особенных звуков.

великодушно, один раз сорвалось…

— Один раз! Один раз — не пидарас, да?! — закричал, краснея, постановщик. — Вон отсюда! Завтра не работаешь!

— Ну, простите, бес попутал.

— Не вали на беса! Пшёл вон! — постановщик оттолкнул его, осмотрелся. — Так! На сегодня — все!

— Егор Михайлович, кормить уже можно? — спросила полноватая женщина.

— Конечно! Нужно!

— Православные, тра-пез-ни-чать! — крикнула она, приложив раструбом руки ко рту.

— Все, все, все! — захлопал в ладоши постановщик, кивнул актерам. — Айда в палатку!

Они отошли от съемочной площадки и вошли в зеленую палатку, растянутую на поляне в окружении берез. Актеры уселись на стулья, две гримерши принялись их переодевать и разгримировывать. Постановщик вынул из портфеля бутылку шотландского виски «Dewar's» двенадцатилетней выдержки, стал быстро разливать по пластиковым стаканчикам:

— Быстро, быстро, быстро…

— Егор Михалыч, смотреть будете? — заглянул в палатку помощник оператора.

— Потом! — постановщик загородил от него бутылку виски, крикнул. — Таня! К нам никого не впускать!

Сценаристка взяла у него бутылку:

— Дай спрячу от греха…

Сунула виски в портфель, задвинула под стол, вынула из холодильника бутылку водки «Пшеничная», поставила на стол.

— Бородатых пускаете? — всунул голову в палатку оператор.

— Георгич, давай! — протянул ему стаканчик постановщик.

Все, кроме гримерш, разобрали стаканчики.

— За нас! — произнес, поправляя очки, постановщик.

Все выпили.

Постановщик достал пачку папирос «Россия», открыл. К папиросам потянулись руки.

— Ну, все. Отлегло… — постановщик закурил.

— Знаешь, я не верила, что сегодня снимем, — жадно затянулась папиросой сценаристка.

— И я не верил, — усмехался оператор.

— А я почему-то верил, — сказал «Иван».

— Третий дубль! — качал круглой головой раскрасневшийся постановщик. — Загадка, матерь вашу! Третий дубль — всегда хороший! Что сие

означает?!

— Триединство, — чесал бороду оператор.

— Это судьба, Егорушка, — улыбалась сценаристка.

— Авдоша, радость моя! — постановщик схватил ее за длинную руку. — Давайте выпьем за нашу Авдошу! Как Жан Габен изрёк: любая фильма — сие лишь сценарий, сценарий и токмо сценарий, ничего боле!

— Не согласен, — покачал головой оператор.

— Не согла-а-а-асен! — передразнил его постановщик. — Разливай!

Оператор полез под стол за виски.

— А можно мне водки? — попросил «американец», вытирая лицо мокрым бумажным полотенцем.

— Конечно, — сценаристка налила ему водки.

Остальным оператор налил виски.

Гримерша взяла пустой стаканчик «американца» из-под виски, понюхала, лизнула:

— Зело странный запах.

Постановщик поднял стаканчик:

— Авдоша, за тебя!

Выпили.

Постановщик выдохнул и сразу затянулся папиросой:

— Как ты придумала круто с этим столом, с этим… всем! Гениально!

— У меня от этой нутеллы изжога, — усмехнулся «Иван». — Как они сию гадость едят?

— С жопоёбством не пропустят, — шумно выпустил дым оператор.

— Не каркай, мать твою! — вскрикнул постановщик.

— Вася, не надобно об этом думать, — сценаристка тронула оператора за плечо.

— Я не думаю, просто — говорю.

— Пропустят — не пропустят… — постановщик разлил остатки виски, швырнул пустую бутылку под стол. — Я не Федя Лысый, безусловно. Но и я право имею на резкое высказывание. Я право и-ме-ю! Ясно?! И там это знают!

— Знают, знают… — закивали все, разбирая стаканчики.

— А вы, ребята, сегодня превзошли самих себя! — постановщик шлепнул по плечам актеров. — За вас!

Выпили.

— Уф! Чего-то я опьянел, — заулыбался постановщик.

— Ты устал, Егорушка, — обняла его сценаристка. — Ступай в самоход, вздремни.

— Нет, — облизал губы постановщик, поправил очки, задумался. — Вот что. Георгич. Пошли-ка, брат, все-таки глянем.

— Пошли, — развел большими руками оператор.

Постановщик обнял его, и они вышли из палатки.

— Я тоже глянуть хочу, — погасил папиросу Иван, вставая.

— А где ты, брат, там и я. Оп-чики! Оп-чики! Оп-чики корявые! — «американец» ловко и быстро прохлопал себя по коленям.

Они вышли. Вслед за ними вышли и гримерши.

В палатке осталась только сценаристка. Куря папиросу и потягивая виски из стаканчика, она возбужденно прохаживалась в небольшом квадратном пространстве. Остановилась возле холодильника. На нем лежала перевернутая коробка из-под дюралайта. Сценаристка подняла ее. Коробкой был накрыт сахарный Кремль. Он был уже сильно объеден съемочной группой. Сценаристка отломила кресты от Архангельского собора и побросала их в стаканчик с виски. Размешала все круговым движением руки и выпила одним духом.

Выдохнула, вдохнула, приложила узкую ладонь ко рту. Кинула стаканчик на пол, наступила на него туфелькой:

— Токмо победа!

И размашисто вышла из палатки.

Underground

Доехав до станции «Беляево», Ариша выбралась из поезда вместе с толпой приехавших из центра столицы и, небыстро передвигаясь в людском потоке, направилась к выходу из подземки. Пройдя сквозь металлические вертухи, она толкнула плечом прозрачную, исцарапанную дверь с надписью «выход» и оказалась в подземном переходе. Здесь было грязно, сумрачно и многолюдно: валом валили приехавшие после рабочего дня, сидели по углам нищие, толкались с оранжевыми кружками, гремя медяками и подвывая свое «милости, а не жертвы!» погорельцы, надрывно пели бритобородые наутилусы, лотошники торговали горячими калачами и вечерним выпуском живой газеты «Возрождение», двое пьяных оборванцев дрались с ярко одетым и накрашенным китайцем, лохматая бездомная собака лаяла на них. Потолкавшись, Ариша поднялась по заваленным мусором ступеням прочь из вонючего перехода и с удовольствием вдохнула свежий весенний воздух.

Наверху, в Москве, было двенадцатое мая, часы

над буквой «П» у входа в подземку показывали 18:21.

Ариша поправила платок на голове, одернула свое ситцевое платье, проверила на месте ли в *притуле* у пояса кошелек, проездная бляха и *дальнеговоруха*. Убедившись, что все на месте, она облегченно вздохнула и быстро зашагала мимо ларьков и рынка к улице Константина Леонтьева.

В свои девятнадцать лет Ариша была высокой, худощавой девушкой со спокойным, не очень красивым лицом и приветливыми, умными карими глазами.

Протолкнувшись через очереди возле четырех стандартных продуктовых ларьков, она обошла большую группу узбеков, сидящих на корточках с кусками арматуры в руках возле четырех огромных контейнеров с живым изображением дракона, глотающего солнце и иероглифами «чуанвэй»,[17] обогнула харчевню и вышла к пятиэтажному, недавно сожженному зданию торгового товарищества «Буслай». На черном от копоти здании висел стандартный знак опричников: собачья голова и метла в красном круге.

---

[17] Примечания: Чуанвэй
Шторы *(кит.)*.

Ариша обошла здание, пахнущее гарью, топча полусапожками головёшки и кусочки битого стекла, заметила впереди улицу Леонтьева с семиэтажными блочными домами, направилась к ним. Во дворе дома № 3 сидел на лавочке и курил седобородый точильщик. Рядом на треноге стояло точило. Ариша подошла к точильщику:

— Дедушка, вы ножницы маленькие поточить сможете?

— Все точу, красавица.

Ариша достала из кошелька маленькие ножницы для ногтей, протянула старику. Тот повертел ножницы в заскорузлых пальцах:

— Восемь копеек.

— Согласна, — кивнула Ариша.

Точильщик закрепил ножницы в точило, включил. Вспыхнули красным лазерные лучики, с шипением прошлись по лезвиям ножниц. Ариша вытряхнула из кошелька на ладонь медяки, выбрала пятак и три копейки, протянула старику:

— Благодарствуйте, дедушка.

— Спаси Христос, дочка.

Старик принял медяки, вернул Арише нагревшиеся ножницы. Убирая их в кошелек, а кошелек в *притулу*, Ариша услышала:

— Здоров, дедуля.

— Здоров, молодец.

Рядом стоял парень, по виду из ремесленных.

— Невеста озадачила: ножни маленькие поточить послала. Наточишь?

— А то!

— Что возьмешь?

— Восемь копеек.

— Дороговато, ан делать нечего, — парень полез в карман.

Заволновавшись и покраснев, Ариша отошла, посмотрела на дом, заспешила вдоль подъездов. Нашла первый, нажала на домовой *переговорухе* кнопку «8».

— Слушаю, — быстро ответил женский голос.

— Я по объявлению, — сказала Ариша, справляясь с волнением. — Мне бы рассады цветочной.

— Проходите.

Дверь пискнула, Ариша вошла в полутемный, нечистый подъезд, нашла на первом этаже дверь с цифрой «8». Дверь открылась, показалось лицо немолодой женщины:

— Что вас интересует?

— Георгины.

— Проходите.

Ариша вошла в скупо освещенную, бедную, но чисто прибранную квартиру. Женщина провела

Аришу в комнату, сплошь уставленную старыми книгами.

— Слушаю вас, — произнесла женщина, становясь перед Аришей.

Она была худощавой, с бледным, внимательно-спокойным и слегка грустным лицом, в длинном глухом темно-зеленом платье и высоких старомодных туфлях.

— Я от Порфирия Ивановича, — произнесла Ариша, волнуясь и разглядывая старинную брошь на груди женщины.

— Кто вы? — спросила женщина.

— Арина Лободина, дочь подьячего Земельной областной управы. Два года тому папашу моего арестовали, он в тюрьме повесился. Маму и братьев сослали в Мариинск. Они уже год там.

— Указ 8-26? — спросил, беззвучно выходя из книжного шкафа, невысокий мужчина с длинными, тронутыми сединой волосами и худым, безбородым лицом.

— Да, — быстро ответила Ариша, стараясь держаться спокойно. — Тогда все земельные управы чистили. У нас в Болшеве восемнадцать домов сожгли.

Мужчина внимательно разглядывал Аришу:

— Мариинск. Это где?

— За Чулымом.

Он кивнул, провел языком по сухим, обветренным губам:

— Не бывал. Ты к ним ездила?

— Дважды, — кивнула Ариша. — В третий — не пустили. На вокзале добромольцы посадили в обратный поезд, на спину змею прилепили.

Женщина и мужчина понимающе переглянулись.

— Кем работаете? — спросила женщина.

Ариша вытянула из *притулы дальнеговоруху*, включила, вызвала свою трудовую: возникла небольшая голограмма с датами и местами работы.

— Штукатур, «Загорянские столбы», — прочитал мужчина. — Вас тоже жгли?

— Сразу после ареста папаши, — кивнула Ариша. — В нашем подъезде два этажа выжгли и в соседнем — три.

— Где вы живете? — женщина подошла к занавешенному окну, заглянула за полупрозрачную занавеску с цветущими лилиями.

— Когда у бабушки в Щелково, когда в общежитии в Загорянке.

— Как вы нашли Порфирия Ивановича? — спросил мужчина, доставая пачку «России» и

закуривая.

— Знакомые погорельцы на рынке рассказали, дали галку.

Мужчина кивнул, сильно затянулся папиросой:

— С вас новый рубль.

Ариша достала из *притулы* заранее приготовленный рубль второй чеканки с профилем государя, протянула мужчине. Он взял, сунул в карман.

В дверь позвонили. Мужчина поднял палец. Женщина пошла открывать.

— Здравствуйте, мы это самое, за рассадой цветочной, — услышала Ариша.

Это был голос молодого ремесленника, точившего ножницы после нее. Мужчина открыл книжный шкаф, сделал Арише знак следовать за ним. Через шкаф они вошли в соседнюю комнату, ведущую в коридор. В коридоре уже никого не было — женщина сразу провела парня в комнату-библиотеку. Мужчина открыл входную дверь:

— Поднимайся на чердак, тихо стукни в дверь два раза. Когда откроют, скажи: «белок». Ясно?

Ариша кивнула, вышла, поднялась на старом, грязном лифте на седьмой этаж, вышла, огляделась, прошла к чердачной вонючей, усыпанной

слоями окурков лестнице, осторожно поднялась по ней до чердачной двери, обитой жестью. Согнула палец колечком, осторожно стукнула в дверь: раз, два. Дверь тут же бесшумно открылась.

— Белок, — произнесла Ариша.

Густобородый, широкоплечий человек молча кивнул ей головой, посторонился, приглашая войти. Она вошла в большое, плохо освещенное чердачное помещение.

— Ступайте прямо, — сказал ей бородач.

Ариша пошла по бетонному полу, залитому гудроном, и увидела группу людей, сидящих прямо на полу. Она подошла к ним. Сидящие посмотрели на нее.

— Двадцать пятая, — произнесла полная женщина со шрамом на лице. — Садись, дочка с нами.

Ариша быстро огляделась и молча села рядом с бритоголовым мужчиной.

— Чего опаздываешь? — мрачно спросил мужчина.

— Я… не знаю, — Ариша пожала плечом.

— Первый раз? — спросила ее сидящая сзади девушка.

— Да, — обернулась Ариша.

— Она новенькая, — пояснила девушка муж-

чине.

— Новенькая, старенькая… какая разница… — пробурчал тот и замолчал.

Все сидели молча. Ариша разглядела сидящих. В основном это были люди плохо или скромно одетые, но не из низших сословий.

«Погорельцы», — догадалась она.

Вскоре вошел тот самый парень-ремесленник.

— Двадцать шестой, — кивнула головой полная женщина. — Садись, соколик.

Парень сел неподалеку от Ариши. Ариша глянула на него. Он подмигнул ей без улыбки.

Прошло еще несколько минут и сразу вошли двое — девушка вела под руку хромого старика, опирающегося на костыль.

— Кворум! — громко произнес идущий за ними бородач, и сидящие возбужденно зашевелились.

Бородач и девушка помогли старику усесться на пол. Тяжело дыша, он вытянул ноги и положил на них свой костыль.

— Надежда, приступай, — произнес бородач, садясь рядом со стариком.

Полная женщина со шрамом вытянула из-под себя небольшой плоский металлический кофр, открыла его, встала. Ариша заметила надпись по-английски на кофре:

Женщина достала из кофра таблетку и протянула сидящему рядом мужчине:

— Скушай, соколик.

Тот с готовностью открыл рот, женщина положила таблетку ему на язык. Сидящая рядом с мужчиной старуха с трясущейся головой тоже открыла рот, вытянула язык.

— Кушай на здоровьице, бабушка, — Надежда положила ей на язык таблетку.

Все сидящие стали по очереди открывать рты и высовывать языки. Надежда двигалась между ними, держа на весу раскрытый кофр, доставая из него таблетки и кладя на языки:

— Кушайте, милые, кушайте, родимые…

Наконец, дошла очередь и до Ариши. Она открыла рот, вытянула язык и увидела, как женщина вынимает таблетку из кофра. Внутри кофра было что-то вроде сот: женщина прорывала очередную ячейку, доставала таблетку. Ариша догадалась, что всего в кофре 28 ячеек.

— Кушай, дочка, — Надежда положила таблетку на вытянутый язык Ариши и двинулась к старику.

Ариша втянула язык с таблеткой в рот. Таблет-

ка сразу стала приятно таять. Во рту посвежело и попрохладнело. Таблетка таяла, холодя язык и щекоча нёбо. Посасывая таблетку, Ариша осторожно вдохнула, оглядываясь на принявших таблетки. Все они расслабились и сидели уже не так напряженно, как вначале. Некоторые с удовольствием причмокивали, посасывая таблетки. Женщина со шрамом вложила предпоследнюю таблетку в рот бородача, последнюю — себе, и с неожиданной яростью швырнула пустой кофр в угол. Бородач поднял руки и показал два больших пальца. Надежда неуклюже плюхнулась на пол рядом с бородачом, обняла его и радостно шлепнула по плечу.

Сидящий неподалеку старик с костылем застонал, покачивая белой головою. Лицо его выражало блаженство и словно помолодело: брови поднялись, глаза полуприкрылись, сосущие губы растянулись в улыбке. Ариша вдруг почувствовала во всем теле приятное оцепенение и поняла, что не может оторвать глаз от этого улыбающегося старческого лица. Лицо старика молодело, морщины разглаживались, кожа подтягивалась, розовела.

«Какое красивое лицо! — восторженно подумала Ариша. — Какие красивые глаза!»

Глаза старика потемнели. Лицо его стало обрастать бурой шерстью. Это было божественно. Ариша перестала дышать от восторга. Старик открыл пасть и глухо зарычал, обнажая желтые, старые клыки.

Ариша зажмурилась от охватившего ее восторга. Сердце ее оглушительно забилось. Она открыла глаза. И тяжко опустилась на четыре лапы. Перед ней лежала широкая площадь, залитая лунным светом. Впереди виднелся храм с золотыми куполами. Поодаль еще несколько храмов. Ариша понюхала площадь. Она пахла чужими, резкими и настораживающими запахами. Ариша сделала несколько осторожных шагов, косолапо переваливаясь и клацая когтями по камню. Остановилась. Подняла морду, посмотрела вверх. Там было хорошо знакомое ночное небо со звездами и большой полной луной. Небо окружали белые каменные зубцы. Небо пахло знакомо. Запах неба успокоил и ободрил Аришу. Она опустила голову. И увидела Старого и двух Молодых. Они выходили на площадь из-за храма. Ариша приветственно рыкнула им. Молодые рыкнули в ответ, а Старый втянул носом морозный воздух и шумно выпустил его. Из скверика с припорошенными снегом елями стали выходить

Молодые и Старые. Ариша двинулась им навстречу. Каждый шаг доставлял ей наслаждение. Она чувствовала свое мохнатое, многопудовое тело. Оно было сильным и спокойным. Шерстяная шуба и слой сала под шерстью на спине надежно защищал его от сильного мороза. От которого слезились маленькие глаза Ариши. Она вышла на площадь. Там стали собираться Старые и Молодые. Ариша подошла к Старому, осторожно понюхала воздух возле его морды, не касаясь ее. Старый рыкнул спокойно. Ариша коснулась носом его заиндевелой морды. Старый открыл пасть и рыкнул громче, показав желтые, сточившиеся зубы. Молодой коснулся носом зада Ариши. Она быстро развернулась и слегка ударила его лапой. Молодой отпрянул. Молодая, коротко взрыкивая, легко и дружелюбно прихватила Аришу за плечо. Ариша, рыкнув ответно, прихватила ее за лапу. Другие обнюхивались, приветственно рыча. Двое молодых, встав на задние лапы, принялись возиться. Старая, глухо зарычав, схватила одного из них за ляжку. Двое старых тихо обнюхивались, ходя по кругу. Вскоре на площади собрались все свои. Все вдруг замерли. Ариша тоже замерла, поняв, что сейчас должно произойти что-то очень важное. Все подняли кверху морды и в

ожидании нюхали морозный воздух. Вдруг раздался перезвон. И вслед за ним — раскатистые удары тяжкого металла, спрятанного в большой белой башне, возвышающейся рядом с зубчатой стеной. Бом! бом! бом! бом! — плыло в морозном ночном воздухе. Все внимали этим ударам. Ариша, замерев, тоже слушала их. Каждый удар звенел в ее мохнатых ушах и резонировал в крепких костях сильного, многопудового тела. Эти удары обещали что-что очень радостное, ради чего все и собрались здесь. Своими слезящимися глазами Ариша видела верх башни, от которой плыли раскатистые удары. Наверху башни сияла в лунном свете золотая двуглавая птица. Бом! бом! бом! — звенела башня. Наконец, она ударила в последний раз. Все замерли. Шесть Старых поднялись на задние лапы и зарычали. Этот рык Старых означал одно: «Пора!» В ответ зарычали остальные. И Ариша зарычала вместе со всеми. «Пора! Пора! Пора!» — раздавалось над площадью. Рев сотряс площадь. И все рванулись со своих мест. Ариша рванулась вместе со всеми. Она бежала среди своих, отталкиваясь лапами от холодного камня. Сердце ее уже почувствовало, куда рвутся все. Обогнув храм, все кинулись к другому зданию. Тяжкие двери были закрыты.

Но разве могли они удержать яростное желание сильных? Лохматый поток сорвал с петель двери, хлынул по мраморным лестницам. Теснясь с другими, Ариша ворвалась в теплое пространство. Мохнатые лапы ее скользнули по мрамору, когти впились в ковер. Бурый поток, толкаясь, пыхтя и взрыкивая, ворвался в просторную анфиладу. Старинный паркет затрещал под могучими лапами. Попадали опрокинутые вазы, зашатались мраморные изваяния, зазвенели подвески люстр и канделябров. И раздался в темноте истошный женский крик предчувствия. Это кричала государыня. И сладким содроганием радости отозвалось большое сердце Ариши на этот крик. Она рванулась вперед, расталкивая остальных. Но где ей было состязаться с сильными и могучими! Они опережали, настигали, заваливали на ковер визжащих и воющих. Под их зубами затрещали кости государя, государыни, детей их. Ариша, рыча и толкаясь, просунула морду свою промеж сильных и мохнатых, дотянулась до трепещущего в агонии, безволосого, сладко пахнущего тела. Впилась зубами, потянула, ломая слабые кости. Оторвала, но тут же была отпихнутая другими жаждущими. Давясь, брызжа теплой кровью, проглотила трепещущий кусок. И за бурым ме-

сивом сильных и мохнатых вдруг в темноте различила маленького человека, проскользнувшего в окно. Быстрая, как вспугнутая птица, мысль пронеслась в небольшом мозгу Ариши: «Догони!» И бросилась она против бурого потока, назад, к мраморным лестницам, к дверям. Пронеслась по анфиладам, скатилась кубарем вниз по лестницам скользким, прыгнула с крыльца в морозную ночь. Замерла, уши и нос насторожив. И услышала-почуяла бег маленьких детских ног. Кинулась по следу. Ножки проворные, ужасом подгоняемые, неслись по пустынной площади. Ариша косолапо бежала следом, дыша тяжело. Вдруг исчез маленький человек. Принюхалась Ариша. Поняла: спрятался. К огромной древней, самой Главной пушке тянулся след порывистый. Догадалась Ариша. Подошла вперевалку. Встала на задние лапы, заглянула в черное жерло пушки. В темноте сладко пахло маленьким наследником государя. Всунула морду Ариша, лязгнула зубами. Да не достала: забился вглубь маленький. Рыча от нетерпения, уперлась спиной в пушку, напряглась. Тяжела была Главная пушка. Но страсть и ярость Ариши сильнее оказалась: зашаталась пушка, повалилась. Выкатился из жерла наследник, кинулся прочь. Но и пяти шажков не успел

сделать, как лапа когтистая сбила его, позвонки ломая. Сомкнулись клыки Ариши вокруг шейки теплой. Только хрип изо рта наследника выполз. Дрожа от счастья и нетерпения, стала жрать Ариша наследника. Раскололась, как яйцо, голова под клыками, затрещали кости, брызнула на камень бесценная кровь. Давясь и урча, глотала Ариша теплое мясо. От счастья и наслаждения слезы густо из глаз полились. Уж и видеть перестала Ариша, а носом и языком ощущала и сладость молодых хрящей, и нежность потрохов, и пьянящее тепло маленького сердца…

Отрыгнув, Ариша ткнулась носом в то, что осталось от наследника: разодранные штанишки в луже исходящей паром крови. В кармане штанишек что-то было. Пьянея тяжело от быстро и много съеденного, разодрала когтями штанишки, сморгнула, вглядываясь. В кармане оказался белый обломок. Пах он новым, сладким запахом. Пригляделась Ариша: обломок тот был в точности как белая башня, из которой звон раздавался. Даже маленькая двухголовая птица была на башенке. Лизнула Ариша башенку. Сладкой она оказалась, но то была не сладость крови парной, а — другая, новая. Подхватила Ариша башенку языком в рот. Хрустнула башенка на зубах, про-

глотила ее Ариша, облизнулась. Сделала шаг и поняла: объелась. Да так, что и идти тяжко. Опьянела от мяса. Отупела. А тут Старый вперевалку подходит. Унюхал. Лизнул кровь на камне, морду к Арише тянет. Глаза его мяса просят. «Отрыгну Старому малость…» — подумала она. Но сразу и передумала: «Нет, жалко…»

Ариша открыла глаза. Лицо старика было рядом, только — в профиль. С закрытыми глазами старик лежал на бетонном полу, на спине и всхлипывал. Ариша приподнялась. Вокруг лежали, сидели, просыпались люди. Она оторопело уставилась на них. Старик закашлял, застонал и стал тяжело приподниматься. Бородач вскрикнул, дернулся, выругался и тяжело задышал. Надежда ворочалась, бормоча что-то.

Ариша поняла, что сама она лежит на боку, скрючившись в неудобной позе. Она села, распрямляясь. Голова была тяжелой, во рту чувствовался неприятный привкус, слегка мутило. Люди вокруг постепенно вставали и уходили. На Аришу они поглядывали как-то не очень дружелюбно, между собой не разговаривали. Ариша встала и тут же поморщилась: она сильно отлежала правую ногу. Ковыляя, подошла к стене, оперлась. Старик сел, кашляя. Девушка, которая

привела его, уже сидела рядом с ним, расчесывая свои длинные волосы гребнем. Потом она стала помогать старику. Опершись на костыль и на девушку, он приподнялся, снова закашлял и густо сплюнул на пол. Ариша оттолкнулась от стены и, припадая на ногу, пошла к выходу. В голове было пусто и тяжело, но на душе как-то спокойно и хорошо. Выйдя в чердачную дверь, она спустилась по лестнице к лифтам. Там уже молча стояли спустившиеся с чердака, кто-то отправился вниз пешком. Ариша тоже молчала, говорить совсем не хотелось. Первой у лифта стояла, прислонившись к нему лбом, старушка с трясущейся головой. Подъехали лифты, люди вошли, плотно заполнив их. Лифты уехали. Ариша осталась одна. Сверху спускался, опираясь на девушку и костыль, старик. Когда он подошел к Арише, подъехал пустой лифт. Старик с девушкой и Ариша вошли в лифт, девушка нажала первый этаж. Лифт поехал вниз. Старик молча и с укоризной смотрел на Аришу. Она отвела глаза в сторону. Едва лифт остановился, Аришу вырвало.

— Ты последыша сожрала, — неодобрительно улыбнулся старик.

Он вытащил из кармана платок, протянул ей. Ариша, мотнув головой, достала из *притулы* свой

платочек, вытерла рот.

— В следующий раз не жадничай, — посоветовал старик. — Делись. Торопило не твори. Ясно?

Ариша кивнула, тяжело дыша.

— Не токмо ты обижена.

Старик подмигнул и, ковыляя, выбрался из лифта. Девушка вышла, поддерживая его сзади.

Отдышавшись, Ариша перешагнула через блевотину, в которой слабо различались пельмени, съеденные ею сегодня после смены в загорянской рабочей столовой, и вышла из лифта.

На улице слегка смеркалось.

Ариша достала *дальнеговоруху*, глянула: почти девять часов. На лавочке вместо точильщика сидели двое парней с девками. Парень наигрывал на мягкой балалайке «Златые горы», пьяноватые девки пели противными голосами. Поодаль, под тополями гужевалась с наутилусами местная шпана.

Ариша поправила платок и спокойным шагом направилась к подземке, туда, где в темнеющем грязном воздухе уже загорелась красная буква «П».

Дом терпимости

Айвовое варенье июльского заката уж протекло-капнуло на пыльно-душное, уставшее и намыкавшееся за день Замоскворечье, когда новенький, цвета парной крови «мерин» государева опричника Охлопа, расчистив путь себе инфразвуковым «рёвом государевым», поворотил-свернул с шумной Пятницкой улицы в уютный Вишняковский переулок и встал-постал возле розовато-желтого особнячка с белыми колоннами, молочными окнами и красными фонарями над крыльцом.

Тихо и покойно вечером в Вишняковском переулке.

Не успевает Охлоп крупнотелый открыть стеклянный верх «мерина» своего, как с крыльца к нему татарин в белом кидается:

— Просим, просим покорнейше, господин опричник!

Ждали-пождали опричника государева в Вишняковском переулке. Открывается прозрачная крыша «мерина», плавно щелкают, отстегиваясь, ремни безопасности. Охлоп, кряхтя, вытаскивает

тело свое семипудовое из низкой машины.

— Просим, просим… — подхватывает опричника татарин под парчовый локоть, помогает, юлит ужом белым.

Неспешно Охлоп из «мерина» выбирается. Летнее платье опричника на нем: тонкая парчовая серебристо-алая куртка, подпоясанная серебряным поясом с деревянной кобурой и ножом в медных ножнах, обтягивающие порты из алого шелка, короткие сафьяновые полусапожки. Блестит завитой чуб опричника золотой пудрой, а возле щеки нарумяненной покачивается в толстой мочке уха золотой колоколец. Тяжеловесно лицо Охлопа, сурово, значительно.

— Голову прикрой, — тяжко отдуваясь, указывает он пухлым пальцем, унизанным платиновым перстеньком с черным сапфиром на голову мраморного дога, пристегнутую к бамперу «мерина» и, судя по запаху и заветренному концу сиреневого языка, уже тронутою-таки легким тленом, несмотря на то, что проворные конюхи, близнецы Матвей и Данила отрубили от замороженной собаки и пристегнули ее сегодня ранним утром в усадьбе Охлопа аж в 5:17, когда солнце-то еще токмо-токмо встало, и не успело разбудить хозяина, дотянувшись коварным лучиком-спицей через

открытое окно спальни и сквозь щель в ситцевых занавесках до заплывшего, полуприкрытого, могучего глаза грозно похрапывающего Охлопа.

— Исполним! — в быстрых руках привратника возникает-шуршит черный пластиковый мешок, глотает собачью голову остроухую.

Переведя дыхание, ждет Охлоп пока крыша «мерина» встанет на место, резко поворачивается, скрипя медными подковками каблуков полусапожек по брусчатке, и, коренасто раскачиваясь, хмурясь густыми низкими бровями, топыря тесто губищ мясистых, пяча вперед живот, поднимается по ступенькам крыльца.

— Позвольте, позвольте… — гибко-белый татарин опережает, забегает, открывает дверь.

Охлоп входит, задевая плечами парчовыми красивые косяки дверные.

В прихожей все красно — и стены, и потолок, и ковер, и кресла, и платье девушки за багровой стойкой безопасности. И люстра сияет подвесками малиновыми.

— Здра-а-а-авствуйте! — запевает девушка, склоняя аккуратно причесанную головку и улыбаясь губками алыми.

— Здоров! — тяжело дышит Охлоп, отстегивая серебряный пояс с оружием и его на стойку перед

девицей брякая.

— Рады видеть вас в добром здравии, — проворно принимает-убирает пояс девица.

— Где сама? — задыхается Охлоп, вытаскивая из рукава тончайший платок батистовый да свой тройной подбородок им отирая.

— Главнокомандующая уже поспешают! — игриво сверкает глазками девица.

И не успевает Охлоп ответить своеобычное «лады», как тяжкого карминного штофа портьеры, шелохнувшись, впускают в прихожую маленькую, худенькую, немолодую женщину в голубом мундире гусарском:

— Благодетель! Душка!

— Куница голубая! — расплываются губищи у Охлопа, обнажая зубы новые, крепкие.

— Долгожданный! — целует главнокомандующая перстенёк Охлопа, тянет вверх голубые тоненькие губки, на мысках сапог гусарских привставая.

— Здравствуй, гусар-девица! — целует в губки голубые ее Охлоп.

— Здравствуй, дорогой! — звенит шпорами гусар-девица.

— Соскучился я.

— А мы-то как скучаем!

Берет за пояс Охлопа гусар-девица ручкой маленькой, тянет вон из прихожей:

— Новенькие поступили! Малина со сливками, а не девочки!

Переваливается Охлоп враскачку:

— Ты же знаешь, я своих, стареньких люблю.

— И старенькие есть, и новенькие!

Проходят гость и хозяйка в гостиную. А там тихая музыка играет, свечи горят да двенадцать девиц в сарафанах и кокошниках сидят скромно, очи долу опустив.

— Проходи, гость дорогой, будь, как дома, — щелкает шпорами управительница.

Встают девицы, кланяются гостю в пояс.

— Здоров, нежныя, — улыбается Охлоп.

— Здравы будьте, Иван Владимирович! — хором девицы отвечают.

— Застоялись кобылки наши без тебя, свет Иван наш Володимирович, — гладит гусар-девица тяжкую длань Охлопа. — Засыхают красны девицы, кручинятся.

— Не верю! — колышет живот свой Охлоп. — Аль столбовая да земская сволочь к вам не захаживает?

— Всех повыгнала, всем отказала тебя ради, господин наш!

— Уважаешь, стало быть, опричников?

— Как не уважать слуг государевых? На вас Россия-матушка держится!

— Молодца! Ну, хвались!

Идет по кругу девичьему главнокомандующая:

— Анфиску-пиписку, Танечку-заводанечку, Леночку-пеночку, Полинку-малинку да Галинку-рванинку знаешь уж ты, благодетель.

— Знаю.

— А вот Анечку и Агашеньку не знаешь, новенькие они.

— Не знаю, покажи.

Подводит гусар-девица двух новеньких, молоденьких, поднимает им красны подолы сарафанов. А под сарафанами — тела юные, статные, сладкие.

— Глянь, господин наш, каковы!

Смотрит Охлоп глазами заплывшими на ножки стройные, колени гладкие, лобки, первым волосиком поросшие, пупочки аккуратные.

— Нежные, ласковые, умелые! — хвалит товар свой хозяйка.

— Хороши, — цедит Охлоп.

— А вот Ирочка-кошечка, вот Наташенька-лисичка, а вот еще одна Ирочка-сочная дырочка — новенькая, саратовская, кровь с молоком.

Подводит Ирочку саратовскую, задирает ей сарафан. Белотела молодица, дородна, пухлява, большеглаза, толстощека. Поворачивает ее управительница:

— Дивись, милый наш, каково опопие у Ирочки. Сдоба пшеничная, а не попа!

Широка и бела Ирина попа. Раздвигает хозяйка ягодицы белые:

— Загляни-ка сюда, милый. Видишь сочничек?

— Вижу.

— Отведаешь — вовек не забудешь!

— Отведаем, — пересмеивается Охлоп, глазами попу белую оглаживая.

Видит-замечает гусар-девица, что наливается кровью хобот уда его, шевелится в портах шелковых, восстает рогом.

— Да ты уж воспалился, господин наш! — нежно гладит-трогает сквозь шелк рукою маленькой, проворной. — Девушки-красавицы, душеньки-подруженьки, воспалился на вас господин опричник!

Тихо пересмеиваются девушки, озорно перемигиваются.

— Давай Ленку-Таньку, а на закуску эту сочную.

— Твои желания — закон, благодетель.

— Девки, что пить будете? — обнимает Охлоп Ленку-Таньку.

— Мне шампанскава! — щиплет его Ленка за живот.

— А мне сиреневой водицы с ромом! — гладит Танька мощный зад опричный.

— А тебе чего? — берет Охлоп Ирочку за подбородок.

— Не знаю… не решила еще.

— Что ж ты такая нерешительная?

Обнимает главнокомандующая Ирочку за плечи пухлые:

— Новенькая она, благодетель. Не обессудь.

— Ладно, разберемся. Ну, что, новенькая, веди меня!

Хоть и новенькая Ирочка-сочная дырочка, а понимает, что значит — веди. Расстегивает ширинку на портах опричника, выпускает зверя его наружу. Могуч зверь промежный у Охлопа! Обновлен искусными мастерами китайской медицины, удлинен, упрочен, с четырьмя хрящевыми вставками, с вострием из гиперволокна, с рельефными окатышами, с мясной волною, с татуировкой подвижной: табун диких лошадей по уду опричному проносится!

Берет Ирочка Охлопа за уд, тянет в опочиваль-

ню. А девушки песню заводят:

Пойдем с нами, милый друг,
Пойдем с нами, милый друг.
Утешать тебя начнем,
Ублажать тебя начнем.
Приголубим бела лебедя,
Приласкаем ясна сокола.
Очи ясныя, руки нежныя,
Губы жаркия, ненасытныя,
На быстру любовь тороватыя.

Ведет пухлявая опричника за уд. А Танька-Ленка сзади его подталкивают. Идут они по коридору, в голубую опочивальню следуют. Любимая это опочивальня у Охлопа из всех четырех: голубой, лимонной, изумрудной да розовой.

Едва двери опочивальни голубой расходятся, все население ее веселенькое Охлопу здравицу поет:

— Здравы будьте, Иван-свет Володимирович!

Вваливается Охлоп в опочивальню любимую. Кидается-устремляется к нему все веселое-электрическое: голышки-окатыши, ползуны, верещалки, хохотухи, чесалки да качалки. Знают, ох, знают они Охлопа Большого! С привычками

да пристрастиями опричника знакомы хорошо мозги их умныя.

Поют электрические, верещат, хихикают желательно. Достает Охлоп из своего левого кармана горсть семячек питания новеньких, криптоновых, голубым светящихся. Швыряет электрическим. Хватают они семячки, глотают, напитываясь.

— Благода-а-а-а-арствуйте! — верещат хором.

Из правого кармана достает Охлоп сахарную колокольню Ивана Великого, выломанную из Сахарного Кремля. Швыряет веселеньким. Ловят они ее, берегут, танцуют. И подносят подносы разнообразные. А на подносах — шампанское, да водица сиреневая с ромом для девок, мед ставленый, брусничный — для гостя дорогого. Пьют Танька-Ленка шампанское да водицу сиреневую, цедит Охлоп мед свой из чаши хрустальной. А Ирочка-сочная дырочка держит в руках уд опричный, смотрит да улыбается.

— Чего пялишься? А ну — пей с нами! — хватает ее Охлоп за шею белую, льет в рот мед ядреный.

Глотает Ирочка брусничный мед, давится. Присасывается Охлоп губищами плотоядными к алым губкам Ирочки белопопой, поит медом насильно. Дрожит телом Ирочка, трепещет грудью,

уд Охлопа не могущая отпустить.

Хохочут Танька-Ленка, Ирочку за опопие пощипывая. Верещат-завывают электрические.

— Разоблачение! — командует опричник.

Вмиг стихают все электрические, танцуют замедленно. Садится Охлоп в кресло с чашей, с удом торчащим.

Тихая музыка наигрывает. Раздеваются девушки под музыку медленно, изгибаясь да подмигивая. Танцуют голые, выставляются, к Охлопу приближаясь. Оплетают руками, приникают губами. Раздевают.

— Отвод!

Подхватывают девушки голого Охлопа под руки, ведут к постели широченной, голубым шелком устланной.

— Повал!

Валят девушки опричника навзничь, оглаживают руками нежными, залезают языками проворными в потные укрывища тела его широкомясого. Кряхтит Охлоп от удовольствия, мурлычет, вздрагивает удом увесистым.

— Ступа!

Возникает в толпе веселых ступа медная с пестом. Кладут электрические сахарную колокольню Ивана Великого в ступу, толкут в пудру

сахарную стремительно. Передают электрические ступу с пудрою сахарной девушкам, кланяются. Обсыпают девушки уд Охлопа сахарной пудрой. Звенит колокольчик в ухе опричника звоном колокольни Ивана Великого. Кланяются девушки сахарному уду. Улыбается опричник.

— На кол!

Садятся Ленка-Танька на уд сахарный по очереди. И начинается сладкая казнь: ездят Ленка-Танька на уду, повизгивая. А Ирочка тем временем ядра опричные щекочет, уму-разуму набираясь. Оживают и веселенькие: подползают, обвивают, гладят по-своему, осторожно, помешать боясь.

Доводят Охлопа. Багровеет тесто хари его, наливаются губы кровушкой:

— Отлив!!

Соскакивает с рога его Танька, сваливается с груди Ленка. Хватаются за уд руками, а Ирочка за ядра поддерживает. Помогают девушки тугому семени опричному из уда-хобота наружу вырваться. Ревет Охлоп медведем, взбрыкивает столбами ног, лупит девок по задам. Стреляет уд его вверх мутными сгустками, стонут девушки сочувственно, восторгаются весельчаки электрические.

— Покой… — задыхается Охлоп.

Замирают все вокруг. Звучит музыка успокаивающая. Проходит время недолгое и новую команду опричник подает:

— Настой!

Льет ему в рот Танька настой тибетский, бодрящий, подносит чашу с медом. Запивает Охлоп порошок, чмокает губищами, дышит свободно грудью холмистой, в себя приходя. Пьют-выпивают девки. И не успевает певец незримый вторую песнь затянуть, как пошевеливается хобот промежный у Охлопа.

Хлопают в ладоши девки захмелевшие, визжат электрические.

— Обсос! — строго Охлоп требует.

Приникают три девушки к хоботу, щекочут-полируют его языками. Восстает уд опричный сызнова. Кладет глаз Охлоп на Ирочку белотелую:

— Эту!

Готовят подружки Ирочку к сажанию на сладкий кол: вводят-проталкивают в попу ей пилюлю расслабляющую, смазывают розовым маслицем, дабы легче приказ исполнился. Поддерживают Ирочку под руки белые, примериваются, направляют, надавливают деликатно.

Садится Ирочка сочником своим на уд Охлопа.

Но несмотря на предосторожность лекарственную и предохранение масляное, стон из уст девушки вырывается: уж зело велик уд в обхвате, зело бугрист, зело беспокоен для юницы. Стонет Ирочка, слезами давится, губку алую закусывая. Подельницы ее поддерживают, на плечи покатые надавливают, поглубже опопием насаживая. Крик вырывается из уст Ирочкиных.

— Привыкай! — лыбится Охлоп.

— Привы-кай! Привы-кай! — двигают тело Ирочки девушки вверх-вниз.

— Привыка-а-а-а-а-ай! — верещат электрические.

— О-о-о-а-а-а-а-а-ай! — вскрикивает Ирочка.

Распирает ее попочку белую, расклинивает беспощадно. Грегочет Охлоп по-жеребячьи, колыхаясь яко тюлень-сивуч на простынке голубой. Подбрасывает Ирочку визжащую. Та уж сбежать с кола липкого норовит, да подружки-товарки не пускают, держат, за сиськи белые вниз тянут:

— Привы-кай! Привы-кай!

И привыкает белорыбица саратовская, приноравливается. Уже и не кричит больше, а токмо стонет. Ездит она по уду туда-сюда. Глядь — и привыкла совсем. И уж не боли стон из уст ее

вырывается, а — сладострастия. Забирает Ирочку так, что внезапно заходится она. Взвизгивает, трясется, как в падучей, сиси свои сжимая:

— А-а-а-а-а-а-м-м-м-а-а-а!

Не сдерживается и Охлоп, взрываясь:

— У-а-а-а-а-а-ахря-я-я-я-я!

Удивляются сладко Танька-Ленка:

— Замо-о-о-о-чек!

Валятся навзничь электрические:

— Сла-а-а-а-адость!

Лупит Охлоп девушек по задам, щиплет, рычит. Воет Ирочка на колу. Одобряют девушки.

Так время и проходит…

В полночь-заполночь, шатаясь да оступаясь, покидает Охлоп дом терпимости. Провожают его девушки в сарафанах-кокошниках, под руки поддерживают, поют:

— Не прощайся с нами, сокол ясный!

Оглаживает гусар-девица уд, в портах уснувший:

— Не забывай!

Гибкий татарин помогает Охлопу в «мерин» усесться:

— Счастливый путь!

Урчит «мерин», подмигивает красным глазом, отъезжает.

Машут девушки ему платочками:
— Будь здоров, опричник государев!

Хлюпино

Корова снова взмычала, мотнула черно-белой головой и стеганула Сашу грязным хвостом.

— Да стой же ты, пролика дочь! — выкрикнула Саша, поддала корове коленом в не слишком крутое брюхо. — То ж и гадина ты, чтоб тебя розорвало…

Саша смазала корове соски тронипулем, ловко насадила на них «ромашку», включила. «Ромашка» заурчала, корова взмычала, ударила хвостом.

— Стой, гадина, стой, чтоб тебя! — Саша схватила корову за холку, поддавая в бок коленом.

Корова недовольно замычала.

— Ну, стой же ты, Доча, Доча, Доченька… — Саша стала гладить теплую холку коровы.

Корова недовольно взмыкивала, шумно дыша.

— Не больно же, чаво ж ты кобенишься? — Саша гладила корову.

Корова взмыкивала и шумно дышала, переступая ногами по чавкающему, прикрытому соломой навозу. Три другие коровы, уже подоенные Сашей, стояли рядом, пожевывая сено.

— Вот и ладно… — Саша заглянула корове под

брюхо, поправляя прозрачный, испачканный навозом шланг «ромашки», по которому пульсировало молоко.

Распрямилась, вытерла рукавом ватника выступивший на лбу пот:

— Вот и ладно…

«Ромашка» пропищала «конец» и отключилась.

— Совсем ничаво, — Саша присела на корточках, стала снимать «ромашку» с вымени. — Хосподи, и когда ж эта вясна окончится?

Подхватив «ромашку», пошла по неровному настилу к двери, потянула за собой шланг. Корова взмыкнула.

— Хосподи… — вспомнила Саша про сено.

Повесила капающую молоком «ромашку» на перегородку, прошла к сеннику, насадила на вилы сена, принесла, положила перед коровой. Поставив вилы к стене, зачерпнула из кузовка крупной соли, растрясла над сеном.

— Жри… — шлепнув корову по боку, подхватила «ромашку», смотала шланг, подхватила и вышла из хлева, закрыв на колышек обитую войлоком дверь.

На заднем дворе было мокро и грязно. С серого утреннего неба падали редкие крупные хлопья

мокрого снега. Дружок, высунув из собачьей конуры лохматую морду, понуро наблюдал за Сашей. Сматывая грязный, тянущийся по двору от избы к хлеву шланг, Саша подошла к заднему крыльцу, открыла дверь, затащила шланг в скупо освещенные сени и сразу же запихнула его в бочку с водой, повесив «ромашку» на край бочки. Скинула грязные сапоги, в шерстяных носках прошла к двери в избу, куда тянулся по полу чистый конец шланга, открыла, вошла.

В избе было чисто, тепло и светло от висящей над столом лампы дневного света. В большой русской печке трещали дрова. В яслях возле печки стояли двое телят. Завидя Сашу, они замычали высокими голосами. Серая кошка, стремительно спрыгнув с печной лежанки, метнулась к Саше под ноги, стала тереться. Саша несильно пнула ее ногой:

— Пошла…

Скинула ватник, повесила на крючок возле двери. Всунула ноги в короткие, стоптанные валенки. Ополоснула руки от грязи под умывальником, вытерла нечистым полотенцем. Зачерпнула ковшом воды из стоящего на лавке ведра, жадно выпила. Отдышалась:

— Ой, мамочки…

Заглянула в печку. Длинной кочергой поправила горящие дрова. Подошла к стоящему в углу сепаратору, нажала кнопку, посмотрела на показатели:

— Совсем ничаво.

Из краника нацедила молока в две литровые бутылки, натянула резиновые соски, дала телятам. Те стали сосать, тараща темно-лиловые глаза.

— Все. Завтра к матерям вас отправляю, — объявила им Саша. — Таперича уж не холодно. А то все мне тут позасрали да позассали, космонавты…

Телята сосали, чмокая, вытягивая шеи. Кошка снова подошла, стала тереться о ногу. Ожидая, пока телята насосутся, Саша подумала про сметану:

«Шесть пачек уж как-нибудь получится, брикет закончу… должно выйти шесть… или пять… нет шесть… хорошо бы шесть, чтоб сегодня и отправить тогда… а то таперича токмо в понедельник… а там и машины может не быть… получится шесть или нет… может и не хватит…»

Когда в бутылках осталось немного молока, Саша отняла их у телят, сняла резинки, налила кошке в плошку:

— На, приставуха…

Мяукнув, кошка метнулась к плошке и стала

быстро-быстро лакать молоко.

— Вот и ладно… — Саша ополоснула бутылки под умывальником, поставила на полку.

Всыпала в маленький чугунок стакан гречневой крупы, добавила воды, кинула щепоть соли, положила ложку топленого масла, накрыла прокопченной чугунной крышкой, подхватила чугунок малым ухватом, задвинула в печь. В большом чугунке лежали в воде со вчерашнего вечера почищенные и нарезанные картошки, морковь и две луковицы. Саша вышла в сени, достала из чулана банку китайской свиной тушенки, принесла в избу, открыла консервным ножом, вывалила в большой чугунок. Добавила лаврового листа и соли, подхватила чугунок большим ухватом и так же задвинула в печь. Кочергой поправила догорающие дрова:

— Вот и ладно…

Включила сепаратор. Он заурчал.

Саша распечатала новую пачку, вынула шесть стаканчиков из серебристого пластика и шесть крышек с живой картинкой: рыжая корова весело подмигивает большим черным глазом, встряхивает головой, вокруг которой ожерельем вспыхивают алые буквы:

СМЕТАНА ХЛЮПИНСКАЯ, 15 %.

Расставив стаканчики на подстолье, подождала, пока сепаратор перестал сбивать и пискнул, замигав зеленым огоньком.

— Поехали! — Саша подставила первый стаканчик под патрубок и нажала красную кнопку. Стаканчик наполнился сметаной. Саша подставила следующий. Сметана белым червем ползла из патрубка.

— Давай, милай, давай, родимый… — Саша наполняла стаканы.

Наполнив пятый, подставила шестой, взмолилась:

— Ну, Христа ради, хосподи, твоя воля…

Урча, сепаратор наполнил и шестой стакан.

— Хосподи! — радостно засмеявшись, Саша подставила под патрубок граненый стакан.

Сепаратор выдавил полстакана сметаны и отключился.

— Ну, молодец, ну, умничка!

Она поцеловала полукруглый металлический верх сепаратора, включила «сброс». По прозрачному шлангу, тянущемуся к двери, зажурчал мутноватый отцык. Саша взяла пистолет, запечатала шесть стаканчиков серебристо-голубой

фольгой, закрыла крышками, подхватила и, прижав к груди, понесла в чулан:

— Вот и ладно.

В чулане на бочке с кислой капустой лежала пластиковая доска, на доске стоял ящик с точно такой же подмигивающей коровой сбоку. Саша открыла ящик. В нем тесно стояли стаканчики со сметаной. Не хватало ровно шести. Саша вложила их в ящик, закрыла его, запечатала широкой липкой лентой, набила код, поставила дату: 19.03.2028.

— Все! — Саша вернулась в избу, взяла со стола *дальнеговоруху*, включила, набрала.

Дальнеговоруха пискнула, вспыхнула крошечной нечеткой голограммой: парень с заспанным лицом поднял голову с подушки:

— Чаво?

— Спишь? — спросила Саша.

— Саш… — парень улыбнулся, зевнул, потянулся. — А я это… вчерась с Аникиными загулял.

— Хорошо живешь. В город когда поедешь?

— Сегодня надобно…

— Правда?

— Угу.

— Возьмешь у меня ящик?

— Ящик? Ну.

— Когда заедешь?

— Ну… А который час-то? Ой, девять, ёптеть…

— Девять.

— А мне к десяти. Щас заеду, Саш.

— Давай.

Саша погасила голограмму, выключила *дальнеговоруху*. Заглянула в печь, поворошила кочергой угли, подгребла к чугункам. В оранжевых углях упорно горела одна непрогоревшая головёшка.

— А ну, ползи-ка сюда, змея… — Саша выгребла головёшку из печи на загнетку, закрыла печной зев жестяной заставкой, потянулась вверх, задвинула заслонку в трубе.

Скинув полуваленки, надела сапоги, коваными щипцами схватила все еще горящую и чадящую головёшку, вышла в сени, прошла, повернула направо, вышла на крыльцо и сразу же швырнула головёшку в палисадник, в осевший грязный снег:

— Пошла…

Головёшка зашипела.

Саша посмотрела с крыльца на редкие избы деревни. Людей не было видно. У Копыловых, у Сотника, у Мухи и у Петуха топились печи. Возле покосившейся избы Гудилихи ходили куры и свинья. Над ближним лесом кружила стая ворон.

Саша сошла с крыльца, пошла по дощечкам мимо палисадника к кладне. Обошла кладню, зашла в нужник. Здесь было сумрачно и пахло оттаявшим говном. Подняв юбку, Саша приспустила рейтузы, спустила шерстяные трусы. Струя ее мочи брызнула вниз, зажурчала. Саша стянула с гвоздя разрезанную на четвертушки газету «Русь», поднесла к лицу, прочитала обрывок заголовка: «…ДЕНИЕ ВЕЛИКИХ ИТОГОВ». Под заголовком было лицо министра Недр с аккуратной бородкой. Газета печаталась в уезде, все картинки не были живыми, как в такой же газете, но отпечатанной в столице.

Помочившись, Саша промокнула промежность бумажкой с министром, кинула ее вниз, встала, подтянула трусы с рейтузами, вышла из нужника. Над ее головой неровно пролетела сорока. Саша набрала в кладне охапку дров, понесла к избе, осторожно ступая по тонущим в грязи дощечкам. Взошла на крыльцо, толкнула дверь правым боком, прошла сени, вошла в избу и сразу свалила дрова к печи, выбрала три полена потоньше, сунула на печь посушиться. Отряхнула кофту, переобулась в полуваленки, глянула на телят. Напившись молока, те лежали на соломе, пожевывая маленькими смешными ртами. Са-

ша взяла стакан с остатком только что сбитой сметаны, большую ложку, села на лавку к окну. И поглядывая в заросшее геранью окно, съела сметану.

В окне за это время ничего не произошло.

Саша поставила пустой стакан на край стола, облизала ложку, сунула в стакан. Кошка стала тереться о ногу.

— Да ты ж наелася токмо что! — отпихнула ее Саша.

На заднем дворе залаял Дружок. Послышалось ворчание мотоцикла, и Саша разглядела сквозь герань подъехавшего Ваню.

Она встала с лавки, вышла на крыльцо. Притулившись, как всегда, у забора палисадника, Ваня заглушил мотор, слез с трехколесного мотоцикла с объемистым серебристым кузовом с надписью «КУРИНЫЙ МИР».

— Быстро собрался-то! — усмехнулась Саша, ежась от внезапного порыва мокрого ветра и обнимая себя за локти.

— Нам собраться — токмо подпоясаться, — Ваня улыбнулся ей мелкими прокуренными зубами.

Открыл дверцу кузова, вразвалку двинулся к Саше, чавкая грязью.

— А я-то думала, ты в понедельник поедешь.

— Не поеду. Не заставят, — он взошел на крыльцо, встал рядом с Сашей и, не переставая улыбаться, посмотрел ей в глаза.

— Подвезло мне, стало быть, — отведя глаза, Саша открыла дверь, пропуская его в сени.

— Подвезло, эт точно.

Ваня вошел в сени, по-деловому открыл дверцу чулана, взял запечатанный ящик, понес к мотоциклу. Саша пошла за ним:

— Думала, не наберу, да набрала, слава тебе, хосподи.

— Чаво, телята обсосали?

— Да пустое молоко-то, вясна ведь.

— Вясна, знамо дело.

Ваня задвинул ящик в кузов, закрыл забрызганную грязью дверцу. Вытер руки о ватник, глянул Саше в глаза:

— Чаю стакан нальешь?

— Чаю? — улыбнулась Саша.

— Мать печку ыщо не стопила, а генератор сдох, соляра нет.

— Налью.

Саша пошла к крыльцу, оглянулась по сторонам.

Ваня двинулся следом. Войдя за Сашей в избу, он снял кепку, перекрестился на иконы, повесил

кепку на крюк, пригладил редкие, всклокоченные волосы. Пока Саша наливала в кипятильник воды, присел к столу, положил перед собой смуглые, полусжатые в кулаки руки с большими выпуклыми ногтями, огляделся:

— Неделю тому прявез две канистры. А утром — чих, чих, и ни пролика.

— Кучеряво живете, — Саша поставила перед ним кружку, сунула в нее пакетик чая, села напротив.

— Да мать все пузырь глядит, про сиротку.

— «Алевтину»?

— Ага.

Иван смотрел на Сашу. Она вздохнула, глянула в окно:

— А я токмо новостя гляну, да и то не кажный дён.

— А я его и вовсе не смотрю.

— И правильна.

Саша снова глянула в окно. Ходики прописк-нули 9:30.

— Не опоздаешь? — Саша глянула на часы.

— А! — махнул кулаком Ваня. — Подождут. Нашли ишака.

Кипятильник закипел. Саша встала, принесла, налила кипятку в кружку.

— А ты попьешь? — Иван вынул из кармана бумажный сверток, стал разворачивать.

— Да я уж пила.

— Я вот, гостинчик табе прявез.

Ваня развернул бумагу. В ней была Кутафья башня от сахарного Кремля.

— Во как, — Саша поставила кипятильник на стол, взяла башню. — Откудова?

— Свояк привез.

— Хорошенькая.

— Умеют, — Ваня смотрела на Сашу. — Дай нож.

Саша выдвинула из стола узкий ящик, вынула и протянула Ивану большой кухонный нож с деревянной истертой ручкой. Иван забрал у нее башенку, уложил на свою левую ладонь, размахнулся ножом и расколол башню пополам. Протянул половинку Саше, сахарные крошки ссыпал себе в рот:

— Садись, попей.

Саша налила себе кипятку, положила чайный пакетик, села, помешивая ложечкой. Ваня обмакнул свою половинку башни в чай, пососал, откусил. Запил чаем. Саша обмакнула свою половинку в чай, пососала, запила. Глянула в окно. Ваня грыз сахар, глядя на Сашу.

— Свояк у Медыни байку новую про государеву нявестку слыхал, — проговорил он, громко прихлебывая чай.

— Про Настёну?

— Ага. Значит, у Кремле есть красавица, три пуда говна на ей таскается, как поклонится — полпуда отломится, как павой пройдет…

— Два нарастет.

— Слыхала уж? — засмеялся Ваня.

— Слыхала.

— Павой, а? — смеялся Ваня, подмигивая.

— Чаво ей павой-то не ходить? Чай, коров не доять.

— Не доять, точно. За нее подоят.

— И подоят и все сделают.

— Точно.

Помолчали, прихлебывая чай. Вдруг зазвонила лежащая на столе *дальнеговоруха*. Возникла крошечная, нечеткая голограмма: лицо старухи в платке.

— Эт хто это? — спросила старуха, прищуриваясь.

— Дед Пихто! — насмешливо ответила Саша, прихлебывая чай. — Вы куда звоните?

— Настя?

— Я не Настя, — усмехнулась Саша.

— Настя у Кремле! — добавил Ваня.

Они с Сашей засмеялись. Старуха исчезла.

— А чего ты себе «Радугу» не поставишь? — спросил Ваня.

— На пролика она мне сдалася?

— Ну, как… большое все. И видать лучше.

— И так сойдет.

Саша смотрела в окно, посасывая сахар и запивая чаем. Ваня поглядывал на Сашу. На деревне залаяли две собаки. Дружок заворчал, потом залаял. Собаки, налаявшись, смолкли. Дружок поскулил, взвизгивая. Потом тоже смолк. Пролетел самолет.

Молча допили чай и съели башню.

— Ну, ладно, — Ваня потер свое колено. — Пора мне.

— Поедешь? — встала Саша.

— Поеду, — усмехнулся он. — Спасибо за чай.

— Пожалста.

Ваня встал, пошел к двери, снял с крюка кепку, надел, сдвинув на затылок. Открыл дверь, шагнул в сени. Саша вышла следом. В полутемных сенях Ваня вдруг обернулся, неловко обнял Сашу. Саша стояла неподвижно.

— Ты думаешь, что я кобель? — спросил он.

— Ничаво я не думаю, — Саша вздохнула.

Ваня попытался ее поцеловать, но она отвела губы.

— Обиделася? — спросил Ваня, беря ее за щеку.

— Ничаво я не обиделася.

— А чаво?

— Ничаво.

Постояли. Ваня держал Сашу за щеку. На заднем дворе заворчал Дружок.

— Саш.

— Чаво?

— Можно я сегодня приду?

— Как хочешь.

Ваня снова попытался ее поцеловать. Саша снова отстранилась.

— Чаво-то ты… это… — он гладил ее щеку. — Чаво ты?

— Ничаво.

— Можт с Федором чаво?

— Ничаво.

— Звонит?

— Звонит.

Ваня вздохнул.

— Езжай. А то опоздаешь, — проговорила Саша.

Он гладил ее щеку:

— Ну, я приду?

— Как хочешь.

Он улыбнулся в полумраке, отстранился, поправил кепку:

— Ладно.

Повернулся, вышел из сеней на крыльцо. Дверь за ним закрылась. Саша осталась стоять в сенях. Подошла к дверце чулана, потрогала деревянную щеколду-вертушку. Было слышно, как Ваня, кашляя, подошел к мотоциклу, завел. Дружок залаял. Саша повернула щеколду вверх. Мотоцикл уехал. Дружок перестал лаять. Саша повернула щеколду влево.

Теленок в избе замычал тонким голоском.

Опала

Слепая, серая мгла рассветная, осенняя, обстояла края тракта Ярославского. Жидкие часы на приборной панели капнули: 8:16. И сразу же копеечный круг солнечный зажегся на часах, напоминая, что где-то там, на востоке, справа от несущейся дороги, за осенней хмарью подмосковной, за пепельной плесенью туч, протыкаемых мелькающими дырявыми соснами, за печальными косяками улетающих птичьих стай и дождевой мокретью встает и настоящее, живое русское солнце. И начинается новый день — 23 октября, 2028 года.

«Лучше б он и не начинался…» — подумал Комяга, доставая папиросу и сразу же вслух укорил себя за малодушие:

— Да полно-те. Не умирай, опричный, раньше смерти.

Это всегда любил говаривать Батя в роковые минуты. Его присказка. Помогало. Говорит ли так он и теперь, в сию минуту роковую? Или молчит? А минута роковая длится и длится, точится каплями солеными, в роковой час накапливаясь-

собираясь. Накапал час, перелился через край, а за часом — и день роковой накатил, хлынул, яко волна морская. Сбила она, тугая, с ног, поволокла, захлебывая. Можно ли говорить, волною соленой накрытому?

— Дают ли говорить, вот в чем вопрос…

Поднес Комяга руку с папиросой к приборной панели, вспыхнуло пламя холодное, кончик поджигая. Затянулся дымом успокаивающим, выпустил сквозь усы. И повернул руль податливый направо, с тракта сворачивая. Потекли кольца развязки с частыми утренними машинами, замелькали дома высотные, потом лес пошел и поселки земские, худородные, лай собачий за заборами косыми, кошки драные на воротах расхристанных, петухи неголосистые в лопухах-репейниках. И вот — новый поворот влево, березняк, брошенные жилища, пепелище, три ржавых китайских трактора, деревенька новая, вотчинная, крепенькая, за нею другая, сосняк молодой, потом старый, запаханное поле, еще поле и еще, и еще, извилина-загогулина вкруг пруда с утками и одним единственным гусем, башня сторожевая, подлесок со следами свежей порубки, забор зеленый, добротный, государственный, с негаснущим сторожевым лучом вповерх, ворота

крепкие, пятиметровые.

Притормозил Комяга.

Прищурился зеленый глаз безопасности над воротами, ответил ему тремя синими вспышками-искрами красный «мерин» опричника государева. Дрогнули ворота, поползли в сторону. Поехал «мерин» дальше, по дороге прямой, палым листом усеянной, через лес вековой, густой, нетронутый, легким туманом окутанный. Через версту расступилась дубрава, замелькала липовая аллея, блеснула оранжерея, возник фонтан в обстоянии изваяний беломраморных и можжевеловых конусов-шаров-пирамид, расстелился вечнозеленый газон с многочисленными воронками от снарядных разрывов и старым дубом, расщепленным безжалостным прямым попаданием, и наплыл-надвинулся бело-розовой подковою, в роскошном великолепии своем терем окольничего, бывшего вельможи в случае, а ныне уж три месяца и восемь дней как опального Кирилла Ивановича Кубасова.

Подкатил Комяга к крыльцу парадному, заглушил мотор четырехсотсильный, поехала вверх крыша «мерина» прозрачная. Покудова вылезал опричник из «мерина» своего верного, по ступеням к нему с крыльца дворецкий засеменил:

— Добро пожаловать, Андрей Данилович, добро пожаловать, батюшка!

В летах дворецкий, но проворен, статен в золотисто-оливковой ливрее своей, бакенбардами седыми и мордою холеной красив.

— Здорово, Потап, — сумрачно ответил Комяга, папиросу бросая.

— Давненько бывать у нас не соизволили, ох, давненько! — закачал большою головой своей дворецкий. — Позвольте машинку вашу в гараж отгоним.

— Я не надолго, — одернул Комяга черный кафтан свой.

— От ворон головушку собачью прибрать надобно. Расклюют вмиг!

— Ну, прибери… — сощурился Комяга на окна дома, огладил свою изящную бородку и стал подниматься по ступеням широкого крыльца.

— Филька! — повелительным голосом буркнул дворецкий в свою петличную *дальнеговоруху*, за Комягою поспешая. — Прибери машину господина опричника!

А сам платком батистовым пыль со спины Комяги стряхивать торопится:

— А то воронья поразвелося нынче, батюшка, — страсть! Тучи черные! Кружат и гадят, кружат

и гадят…

— Вороны? Откуда? — с зевотою нервной, утренней спросил Комяга.

— С парных полей, откуда ж еще, батюшка Андрей Данилович? Вона как таперича — все под пар распахано до самого Болшева. Земские нынче озимых-то и не сеяли, потому как нового тяглового закону ждут. Чтобы, значит, каждому со своею вытью разрешил Государь беспрепятственно на отруба уходить или к столбовым закладываться. Токмо вотчинные да китайцы нынче и посеялись. Вона как у нас в Подмоскве!

«Новый тягловый закон… — сумрачно подумал Комяга, глядя своими уставшими после бессонной ночи глазами на двери из бронебойного стекла, плавно перед ним раскрывающиеся. — Старое мурыжило. До него ли нам всем теперь?»

Двери распахнулись. И сразу за ними зажглась громадная прихожая с витыми колоннами, с люстрой в виде пальмы египетской, с резным потолком, с мозаичным каменным полом, со львами живыми беломраморными, с двумя рослыми придверниками в таких же, как и у Потапа, золотисто-оливковых ливреях.

— Где барин? — Комяга сбросил кафтан свой и шапку черного бархата с соболиной оторочкой

на руки Потапу.

Оставшись в красной парчовой куртке, подпоясанной форменным опричным поясом с ножом в ножнах медных и пистолетом в кобуре деревянной, провел ладонью по голове, волосы приглаживая, не задев завитого, покрытого золотой пудрой чуба.

Рыкнули мраморные львы. Сурово подмигнул им Комяга, зевнул мрачно:

— Ну, где Кирилл?

— В водичке плавать изволят-с, — передал Потап одежду опричника горбуну-платяному, а сам засеменил по мрамору, Комягу опережая. — Таперича по утрам уж месяца поболе, как батюшка наш сердечный, дай Бог ему здоровьица, снова водичку прохладную возлюбил!

«Плавает, толстомясый… — завистливо подумал Комяга, сумрачно выгибая бровь. — Тут вселенная рушится, земля трясется, а они-с в водичке плавают».

Двинулся Комяга вслед за дворецким по анфиладам, коваными сапогами по паркету наборному грохоча. Прошли одну залу, прошли другую, вниз спустились — и вот она, купальня: просторная, расписная, с волнами морскими, с камнями, с фигурами мраморными. В купальне плавали,

борясь с волнами, трое голых — окольничий Кубасов и две его наложницы, сестры Ам и Нет.

— Андрей! — раскатистым басом заметил вошедшего окольничий.

— Кирилл! — Комяга воздел правую руку, прижал к парчовой груди, склонил голову.

— Андрей! — Кубасов брызнул на опричника водой, но не достал.

— Кирилл, — устало улыбнулся Комяга.

— Прыгай сюда! — качался на волне толстенный окольничий.

— Водица прохладна зело, — Комяга глянул на термометр.

— Пятнадцать градусов! Прыгай, взбодришься! — Кубасов снова плеснул водой и попал.

— Нет, дорогой, — Комяга смахнул водяные капли с парчи.

— Ах, ты, привереда! — засмеялся Кубасов. — Девки, ныряем!

Все трое нырнули. Под водой миниатюрные Ам и Нет обхватили толстые ноги окольничего, прижались к ним и толкали, толкали круглое тело вельможи вперед, как морскую мину, отчаянно своими ножками работая. Пока они проплывали всю пятидесятиаршинную купальню, Комяга успел сесть в плетеное кресло, достать портсигар

и закурить папиросу.

— Уах! — вынырнул Кубасов и задышал жадно, закачался на волнах.

Ам и Нет поддерживали его.

— Ой, смерть… ой, не могу… — дышал Кубасов.

— Не знал я, что ты ныряльщик морской, — улыбнулся устало Комяга.

— Ой, смерть… ой, хорошо… — Кубасов шумно высморкался в воду, Ам и Нет отерли ему лицо.

— Всё. На берег! — скомандовал он.

Наложницы подпихнули его к ступеням. Он стал вытаскивать свое десятипудовое тело из воды, Ам и Нет подталкивали в чудовищные ягодицы.

— На берег, на берег… — бормотал окольничий.

Подскочил банщик Ванька, помог, подхватив под могучую ручищу, протянул красный халат из живородящего махрового льна.

— Пшёл отсюда! — притопнул мокрой ножищей Кубасов, и Ванька исчез.

Выскочившие из волн Ам и Нет облачили окольничего в халат.

— Фоах… благодать… — пробасил Кубасов, подходя к Комяге.

Комяга встал.

— Ну, здравствуй, опричный, — улыбнулся оплывшим, раскрасневшимся, влажным лицом Кубасов.

— Здравствуй, окольничий, — ответно улыбнулся Комяга, готовясь обнять Кубасова и отводя в сторону руку с папиросой.

Кубасов, помедлил, улыбаясь. И вдруг, коротко размахнувшись ручищей своей, залепил Комяге сильную пощечину. Громкий звук поплыл по купальной зале, отражаясь от мозаичных стен. И словно призванные этим звуком, в светлом пространстве купальни возникли темные фигуры хранителей тела окольничего.

Комяга попятился, папироса выскользнула из его пальцев. Ошеломленный, он взялся левой ладонью за свою щеку, словно проверяя, — не отвалилась ли?

Кубасов подошел к нему вплотную, касаясь животом. Тяжелое лицо его вмиг стало угрожающе-непроницаемым, губы сжались сурово.

— Почто ты приехал? — глухо спросил он.

— Кирилл… — пробормотал Комяга.

— Почто ты приехал?! — Кубасов схватил Комягу за плечи, встряхнул.

Золотой колокольчик в ухе опричника зазвенел тонко. Но даже и этот привычный звон не

вывел Комягу из оцепенения.

— Кирилл… Кирилл… — недоумевающее морщил он густые брови. — Кирилл!

— Кто ты?! Кто? — тряс его Кубасов.

— Я… Комяга.

— Кто ты, мать твою?! Отвечай!

— Комяга.

— Кто?! Кто?!! — закричал окольничий, тряся его.

— Друг твой!! — вдруг выкрикнул Комяга так, что окольничий остановился.

Комяга отпихнул его руки. Лицо опричника побледнело, но левая щека наливалась красным.

— Я друг твой! Андрей!

Вперился Кубасов в Комягу маленькими, яростными глазками своими.

— Почто ты приехал? — шепотом спросил он.

— Батя арестован.

Кубасов внимательно смотрел на него. Оплывшее лицо его сосредоточилось, глазки прищурились. Облизал он мокрые губы свои. И резко схватил Комягу за руку, повернулся, за собою таща:

— Пошли!

Спотыкаясь, Комяга двинулся за ним, бормоча:

— Не то, чтоб арестован, а токмо задержан по

приказу государя на сутки для выяснения. Опричнину возглавить государь Потыке поручил. Стало быть молодому крылу государь опричнину доверил. И слава Богу.

— Пошли, пошли… — тащил его Кубасов.

Они вышли из купальни, Кубасов потащил Комягу к лифтам:

— Пошли, пошли!

— Государю нашему виднее, ясное дело, — Комяга оглянулся на охранников с автоматами.

Кубасов шагнул в открывшийся зеркальный лифт, втянул Комягу, нажал кнопку «3». Лифт наверх поехал. Комяга глянул на свое отражение:

— Потыка, он в левом крыле ранее обретался, но токмо сейчас его…

— Потное дело! — громко засмеялся Кубасов, ткнув пальцем в свое отражение. — А где пот, там и кровь. Там и слезы! Да?

Комяга хмуро посмотрел через зеркало на Кубасова.

Лифт остановился. Кубасов стремительно вышел, таща за руку Комягу:

— Вот сюда… в укрывище вечное…

Возле лифта стояли четверо в черном с автоматами. Дальше открывался просторный кабинет окольничего с бронебойными, зеркальными сна-

ружи стеклами трех больших окон, в каждое из которых были встроены скорострельные пушки. Возле двух пушек сидели стрелки. У пушки среднего окна стояло массивное кожаное кресло.

— Сюда, сюда! — Кубасов потащил Комягу с столу.

На столе лежало большое зеркало, на зеркале аккуратными линиями теснились десятки готовых кокаиновых линий. Здесь же стоял запотевший графин с водкой.

«Ну вот… — грустно подумал Комяга, — как всегда…»

И заговорил:

— Кирилл, я вот что хотел спросить…

— Давай, давай! — Кубасов подтолкнул его к столу, а сам, взяв золотую трубочку, склонился к зеркалу и проворно втянул в обе ноздри по линии.

Сразу возник охранник, наполнил стопку водкой. Кубасов, коротко шмыгнув носом, сходу опрокинул в рот стопку, выдохнул и сразу втянул третью линию, швырнул трубочку на зеркало, повелительно указал Комяге толстым пальцем. Комяга со вздохом неохоты взял трубочку, не торопясь втянул одну линию, потом другую, выпрямился. Охранник поднес ему стопку водки.

Комяга выпил, вздохнул облегченно. Но Кубасов требовательно стучал толстым пальцем по зеркалу:

— Пристяжную, пристяжную!

Комяга вынужденно согнулся, втягивая третью полоску. Кубасов, радостно и шумно расхохотавшись, погладил его по спине, грозя кому-то пальцем:

— А все потому что газ кончился. Все повысосали, гады косоглазые!

Комяга выпрямился, достал платок, отер нос. Кубасов схватил его за куртку парчовую:

— Новый обруч нужен, дабы стянуть страну, а? Об этом же он, а? Понял, а?

— Да я же понимаю, Кирилл Иваныч, как не понять? — брови Комяги изогнулись. — Государь наш дело великое затевает. И слава Богу.

— Государь наш — крыса помойная! — с усмешкой произнес Кубасов, своим оплывшим лицом к лицу Комяги приближаясь. — Четвертовать его на Лобном, а? А можно и шестировать, а? Или девяносторовать, а? И — псам, псам, чтоб полакомились, а? За все хорошее, за все пригожее. За все далекое, за все широкое.

Комяга молчал.

— Вон, — Кубасов показал на окна с пушка-

ми. — Три грации мои. Люблю их.

— Кирилл Иваныч, — спокойно произнес Комяга. — Я знаю, что государь сегодня ночью звонил тебе.

— Звонил! — ощерясь, бодро кивнул окольничий. — На царствие меня уговаривал.

— Кирилл, я серьезно…

— И он серьезно! Говорил, приедет с шапкой Мономаха. Короновать. С патриархом. И знаешь — согласился я. Хотя, Комяга, по сердцу скажу: тяжела, ох, тяжела злоебучая шапка Мономаха! Но, я согласился! А что делать?! Жду их всех к обеду! Готовлюсь. Вон, смотри, Комяга…

Кубасов подошел к среднему окну, сел в кресло, спустил предохранитель на пушке и дал короткую очередь по газону. На газоне беззвучно выросли три взрыва и опали.

— Добро пожаловать, крысюки! — захохотал Кубасов.

— Кирилл Иваныч, послушай…

— Это ты меня послушай! — вдруг ударил его кулаком в бок Кубасов. — На тебе же припёку нет! Чего ж ты ко мне приперся? Думаешь, подскажу — к кому бы заложиться, а?

— Да погоди ты…

— Или любви хочешь? Любовь-то лечит.

— Кирилл…

— Любовь, Комяга! Любовь! Ясно, а?

— Кирилл…

— Любовью мир спасется, Комяга, токмо любовью!

— Послушай, Кирилл! — Комяга повысил голос. — Завтра мы будем жить в другой стране. Завтра будет поздно! Новую метлу государь готовит. А в ней прутья-то зело часты. Тебе же не веки здесь затворничать! Время дорого! Что тебе сказал государь?

Кубасов поднес палец к большому, узкогубому рту:

— Тс-с… Сейчас.

Подошел на цыпочках к столу, выдвинул ящик, вынул большой черный маузер, взвел курок, быстро прицелился в лоб Комяги и выстрелил. Мозг Комяги сильно брызнул из затылка на ковер. Комяга отшатнулся назад и рухнул навзничь. Охранники и стрелки у пушек не пошевелились.

Кубасов посмотрел на лежащего на ковре Комягу. Подобрал с зеркала стреляную гильзу, повертел в пухлых пальцах, понюхал. Поставил на зеркало. Глаза его остановились на сахарном Кремле, стоящим в углу на невысокой мраморной колонне. Он выстрелил по Кремлю. От Кремля

полетели сахарные куски.

— Вот… — вздохнул Кубасов и положил маузер на стол. — В питье не запью, в еде не заем, во сне не засплю. Аминь.

Медленно побрел к окну. Подошел, посмотрел прищурившись. Стая ворон сделала круг над газоном, опустилась на свежие черные воронки.

— Не прелагай пределов вечных, — произнес Кубасов и тихо, радостно засмеялся.